Елена Николаевна Иваницкая

Один на один с государственной ложью

Становление общественно-политических убеждений позднесоветских поколений в условиях государственной идеологии

Елена Иваницкая

Один на один с государственной ложью. Становление общественно-политических убеждений позднесоветских поколений в условиях государственной идеологии

«Издательские решения»

Иваницкая Е. Н.

Один на один с государственной ложью. Становление общественно-политических убеждений позднесоветских поколений в условиях государственной идеологии / Е. Н. Иваницкая — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835587-5

Каким образом у детей позднесоветских поколений появлялось понимание, в каком мире они живут? Реальный мир и пропагандистское «инобытие» — как они соотносились в сознании ребенка? Как родители внушали детям, что говорить и думать опасно, что «от нас ничего не зависит»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания, но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.

ISBN 978-5-44-835587-5

© Иваницкая Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

Введение 6
§1. Глас народа и приказ генсека 7
§2. Коммунистическое воспитание – что это такое и для чего оно нужно? 10
§3. Вопросы остаются нерешенными 14
§4. Удалось ли коммунистическое воспитание? 17
§5. Патологическая нормальность 20
§6. Движение к реальности 27
§7. Вопросы о нашем политическом детстве 29
§8. Первые политические впечатления 31
Глава 1.Зловещая родня 33
§1. Так называемая любовь 34
§2. Сторона оборотная, она же главная для понимания реальности 44
Глава 2. Вершины коммунизма 48
§1. Коммунизм детей и родителей 50
Конец ознакомительного фрагмента. 54

Один на один с государственной ложью Становление общественно-политических убеждений позднесоветских поколений в условиях государственной идеологии

Елена Николаевна Иваницкая

© Елена Николаевна Иваницкая, 2016

ISBN 978-5-4483-5587-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Становление общественно-политических убеждений в условиях советского (коммунистического) авторитарного режима – сфера малоисследованная и загадочная, хотя со времени краха государственной идеологии прошло уже четверть века.

Каким образом у детей и подростков позднесоветских поколений появлялось понимание, *в каком мире они живут*? Какие представления и убеждения возникали у них *на самом деле*, под корой фикций, внушаемых пропагандой и школой? Какие фикции и в какой мере маленькими детьми, школьниками и студентами принимались на веру, усваивались, а тем самым и включались в круг убеждений? Реальный мир и пропагандистское «*инобытие*» – каким образом они соотносились в сознании (понимании, душе) ребенка? Какие именно семейные практики существовали для того, чтобы пресекать вопросы и недоумения детей? Как именно родители внушали детям установки, что надо молчать и быть осторожным, что говорить и думать опасно, что «*от нас ничего не зависит*»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания (например, «активной жизненной позиции»), но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.

§1. Глас народа и приказ генсека

Реальное устройство, реальное функционирование, реальное состояние советского государства и общества практически не изучались в Советском Союзе и представляли собой, с одной стороны, привычную данность, к которой население с трудом, но приспосабливалось, а с другой – загадку, непонятную никому.

Есть стойкая легенда, будто генсек Андропов сказал, что *мы не знаем страну, в которой живем*. Вариант: *не знаем общества, в котором живем*. Вариант: *не знаем, где очутились*. Легенду повторяют устно и печатно, в том числе серьезные исследователи, которые в те годы были свидетелями событий. Они даже домысливают, с какими чувствами генсек легендарную фразу произнес.

«Как известно, незадолго до начала перестройки тогдашний руководитель КПСС и государства Юрий Андропов с тяжелым сердцем признал: «*Мы не знаем, где очутились. Мы не знаем общества, в котором живем*» (Б. А. Грушин. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. – М.: Прогресс-Традиция, 2001, с. 23).

«В начале 80-х Андропов растерянно признал, что „мы не знаем страны, в которой живем“» (Александр Янов. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга вторая: 1917—1990. – М.: Новый хронограф, 2015, с. 142)

«Выборы заставили вспомнить давнюю фразу Андропова с которой он начинал свой недолгий генсекретарский век: „Мы не знаем страну, в которой живем“» (Александр Агеев. Голод. – М.: Время, 2014. с. 548)

Мемуаристы из КГБ, служившие под началом Андропова, легенду опровергают: «Он никогда не говорил: „Мы не знаем общество, в котором живем“. Кто-то ошибочно „приклеил“ ему эту фразу» (Андропов в воспоминаниях и оценках соратников и сослуживцев. – М.: Арт-стиль – Полиграфия, 2012, с. 28).

«Соратники и сослуживцы» совершенно правы. Андропов этого не говорил и не мог сказать, потому что это была правда. Правду с партийных трибун не говорили никогда. Но генсек же не сам свои тексты сочинял, поэтому у знаменитой фразы появились авторы. В книге «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (М.: Центрполиграф, 2008) журналист Леонид Млечин отыскал двоих сразу, причем на одной странице одного, на другой – другого. Под пером Млечина легенда выглядит так. В журнале «Коммунист» (1983, №3) была опубликована статья «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». Ее начали сочинять для Брежнева, но он умер, поэтому текст достался новому генсеку. А в последний момент случилось вот что: «Борис Григорьевич Владимиров, бывший помощник Суслова, „по наследству“ перешедший к Андропову, вписал ему в статью такую фразу: „Нам надо понять, в каком обществе мы живем“» (с. 474).

Ну, если и была такая фраза, то «поправили» ее до неузнаваемости. Те, у кого хватит терпения прочесть статью, убедятся, что ничего похожего там нет. Ни в строках, ни между строк. Сегодняшние «сослуживцы» Андропова твердят, что статья была «глотком свежего воздуха». Выразительное свидетельство про этот «глоток» оставил в дневнике Анатолий Черняев, в то время крупный аппаратчик Международного отдела ЦК: «Мне она понравилась откровенностью и ленинским стилем. Я ее читал три раза. А спроси, о чем она, – не отвечу, если конечно, иметь в виду нашу перспективу, план действий. Хотя уже хорошо, что нет хвастовства» (А. С. Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972—1991 годы. – М.: РОСПЭН, 2010, с. 529).

Статья – обычная партийная ахинея, смысл которой (если допустить, что он там есть) состоит в том, чтоб коммунизма слишком скоро не ждали. «Нам надо трезво представлять, где мы находимся. Забегать вперед – значит, выдвигать неосуществимые задачи; останавливаться на достигнутом – значит не использовать все то, чем мы располагаем. Видеть наше общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами – вот что сейчас требуется. Партия предостерегла от возможных преувеличений в понимании степени приближения к высшей фазе коммунизма» (Ю. В. Андропов. Ленинизм – неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс. Избранные статьи и речи. – М.: Политиздат, 1984, с. 432). В те годы никто коммунизма не ждал, никто его не «строил». Сочинители текста прекрасно это знали, но выражались осторожно, закручивая слова до безграмотной невнятицы: *от возможных преувеличений в понимании степени приближения.*

Ровно то же самое команда спичрайтеров сочинила и для речи генсека на Пленуме 15 июня 1983 года. А в последний момент (у Млечина сюжет повторяется) кем-то была вписана легендарная фраза – «судя по всему, одним из руководителей международного отдела ЦК Вадимом Валентиновичем Загладиным» (Последняя надежда режима, с. 485).

Ознакомление с речью тоже требует большого терпения. Никаких растерянных признаний с тяжелым сердцем в ней нет. Генсек бабачит и тычет. Ему досконально известно, в каком обществе мы живем, куда будем дальше двигаться и где, на каком этапе развития мы находимся. «Партия определила его как этап развитого социализма. Это общество, где уже полностью созданы экономическая база, социальная структура, политическая система, соответствующие социалистическим принципам, где социализм развивается, как принято говорить, на своей собственной коллективистской основе. И Программа партии в современных условиях должна быть прежде всего программой планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма, а значит, и дальнейшего продвижения к коммунизму» (Ленинизм…, с. 473). Все это повторяется без конца вместе с неизбежными требованиями усилить, повысить и дать отпор. Но в тексте очевиден фрагмент, который преобразился в легенду. Перейдя к *партийной критике отдельных недостатков*, генсек делал выговор *экономической науке*. За то, что она не раскрыла в должной мере экономические закономерности… – вот здесь-то и появляется этот словесный оборот: закономерности общества, «в котором мы живем и трудимся» (с. 481). Генсек тут же растолковал, как это надо понимать: «Наука, к сожалению, еще не указала практике нужные, отвечающие принципам и условиям развитого социализма решения ряда важных проблем. Что я имею в виду? Ну, прежде всего выбор наиболее надежных путей повышения эффективности производства, качества продукции, принципы научно обоснованного ценообразования» (с. 381).

С Андроповым многие связывали наивные надежды, которые у меня уже в то время вызывали недоумение перед доверчивостью умных, умудренных жизнью людей. Хотя я была очень молода, к Андропову относилась с отвращением. Но все, кто поверил в возможность перемен к лучшему, услышали то, чего генсек не говорил и говорить не собирался. Создав легенду, они подсказывали, что он должен был объявить – растерянно и с тяжелым сердцем. «*Мы не знаем, где очутились! Мы не знаем общества, в котором живем!*» Это был глас народа.

Приказ генсека был прямо обратным: усилить пропаганду: «Всю нашу идеологическую, воспитательную, пропагандистскую работу необходимо решительно поднять на уровень тех больших и сложных задач, которые решает партия. <…> Во всей воспитательной и пропагандистской работе следует постоянно учитывать особенность переживаемого человечеством исторического периода. А он отмечен небывалым за весь послевоенный период противоборством двух полярно противоположных мировоззрений, двух политических курсов – социализма и империализма. И будущее человечества в немалой степени зависит от исхода этой идеологической борьбы. Отсюда понятно, как важно уметь донести в доход-

чивой и убедительной форме правду о социалистическом обществе, о его преимуществах, о его мирной политике <…> Партия добивается, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, а как активный строитель коммунизма» и т. д. (Ленинизм…, с. 471, 472, 480).

§2. Коммунистическое воспитание – что это такое и для чего оно нужно?

Необъятно доверчивый американский психолог Ури Бронфебреннер немножко поизучал советских детей (под присмотром ответственных товарищей) и написал книжку, где восторженно одобрил советское воспитание, – «Two worlds of childhood. USA and URRS» (New-York, 1970). В 1976 году она была переведена у нас с послесловиями профессоров-психологов – Игоря Кона и Лидии Божович: Ури Бронфенбреннер. Два мира детства. Дети в США и СССР. – М.: Прогресс, 1976.

Бронфенбреннер заверял читателей в том, что советские методы воспитания могущественны, эффективны и детально разработаны. Он почтительно признавал, что у воспитания есть четкая и определенная цель – «формирование коммунистической морали» (с. 28). Он горячо восхищался примерным поведением, хорошими манерами, прилежанием, дисциплиной, альтруизмом, коллективизмом советских детей. «В беседах с нами они выражали сильное желание учиться, готовность служить народу, – разливался психолог. – Их отношения с родителями, учителями и воспитателями носят характер почтительной и нежной дружбы. Дисциплина в коллективе воспринимается безоговорочно, какой бы суровой сточки зрения западных стандартов она ни выглядела. <…> случаи агрессивности, нарушения правил и антиобщественного поведения – явление крайне редкое» (с. 52). А всех лучше, представьте себе, были ученики школ-интернатов. Домашние дети нарушали правила «крайне редко», а интернатские – «еще реже» (с. 53).

Никаких недостатков в советском воспитании психолог не обнаружил. Все было замечательно. Этот злостный самообман произошел, по моему мнению, не только от доверчивости, но и от эгоизма. Бронфенбреннер заботился об американских детях, а «блестящие успехи» советской системы воспитания позволяли развернуть критику американской и указать на изъяны. Что он и сделал. Его слепой эгоизм – научная недобросовестность. Впрочем, кое-что и он разглядел.

От него не укрылась особая ситуация советской семьи, но он не понял ее и описал вполне позитивно: «Семья в Советском Союзе не является ни единственным, ни даже главным уполномоченным общества по воспитанию детей. Прямая ответственность возлагается здесь на другой социальный институт – детский коллектив» (с. 11). Нелепость о прямой ответственности детского коллектива за воспитание комментировать не буду. Но то, что у советской семьи была отнята значительная часть воспитательных полномочий, – это замечено верно, хотя выражено очень наивно.

Вероятно, Бронфенбреннер совсем не понимал, что такое государственная идеология и страх перед репрессивной машиной государства. Советские родители не имели права передавать детям свое реальное понимание *общества, в котором они живут и трудятся*. Строго говоря, они вообще не имела права на собственное миропонимание. Такое право безраздельно принадлежало партии, государству, идеологии. Каждый ребенок в этом смысле был полной собственностью государства. Родители *сами* вынуждены были следить и принимать меры, чтобы дети оставались в идейной государственной собственности. Простодушное замечание ребенка могло оказаться нечаянной антисоветчиной – и подвести всю семью. Педагоги были обязаны следить за болтовней учеников, вести учет неосторожных высказываний и проверять идейную атмосферу в семье. Парадокс состоял в том, что родители-коммунисты *тоже* не могли передавать детям свои непритворные коммунистические убеждения – из-за двух непреодолимых препятствий. Первым был *дубовый и кондовый* язык. Другого языка у коммунистической идеологии не существовало, а искать иной, подходящий для живого разговора с ребенком, было опасно. Отклонение от языка стало бы и отклонением

от идеологии. Но еще важней было второе препятствие. Искренний разговор на политическую тему был невозможен в принципе, потому что пропаганда резко расходилась с объективной реальностью. *Вижу одно, слышу другое.* Если бы родители допустили, чтобы ребенок, а тем более подросток обсуждал вместе с ними внутреннюю и внешнюю политику партии, бывших и нынешних «вождей», прошлое и настоящее страны и семьи, если бы разрешили ему расспрашивать и задумываться об этом, то критика *сакральных* персон, действий и эмблем становилась неизбежной. Поэтому в советских семьях все политическое было табуировано. Родители предписывали детям молчать и не думать «об этом», а высказываться только по требованию уполномоченного лица (воспитателя, учителя, пионервожатого) и только теми словами, которые были заучены прежде. Обычно такое предписание было негласным, оно вытекало из всех условий взаимодействия родителей с детьми, но иногда старшие прямо этого требовали. В своих откровенных воспоминаниях педагог Леонид Лопатин рассказывает, что в пятидесятые послесталинские годы отец с матерью «постоянно напоминали детям (нас было шестеро) „говорить, как в школе велят, иначе нашего папку посадят“» (Леонид Лопатин. Советское образование и воспитание, политика и идеология в 55-летних наблюдениях школьника, студента, учителя, профессора. – Кемерово: КемГУКИ, 2010, с. 40).

Наивный Бронфенбреннер, впервые приехавший в Советский Союз как раз в конце пятидесятых, этого не знал. Советские психологи Божович и Кон несомненно знали. Но в своих послесловиях они изобразили советское воспитание абсолютно безупречным. Целиком поддерживая восторги обманутого психолога, они спорили с ним всякий раз, когда его посещало сомнение. Так, в связи с воспитанием в коллективе Бронфенбреннер задумался о конформизме. Но Игорь Кон строго ему указал, что наше отношение к конформизму «однозначно отрицательное» (с. 159), ибо конформизм – это приспособленчество, а мы воспитываем «критически мыслящих и способных занимать самостоятельную позицию личностей» (с. 159). Лидия Божович пресекла попытку усомниться в полномочиях советской семьи, осудив коллегу за «путаницу». Никто не снимает с советской семьи ответственность и заботу, настаивала Лидия Ильинична, но нельзя же запирать детей в узкий семейный мирок. Скоро ребенок «выходит в широкий мир общественных отношений», поэтому только воспитание в коллективе и через коллектив позволяет сформировать у него «лучшие качества человека и гражданина» (с. 149).

Конечно, встает вопрос, *кого* они обманывали. Прежде всего зарубежных педагогов и психологов. Это понятно. Но кого еще? Партийное руководство? Или самих себя тоже?

Сегодня Сергей Кара-Мурза с пафосом ссылается на Бронфенбреннера, уверяя, что советская школа такой и была, как ему померещилось. «Сильное желание учиться, готовность служить народу», «безоговорочная дисциплина», «развитие способности к сотрудничеству», «подобие семьи», «нежная дружба» и т. д. (Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. – М.: Эксмо. Алгоритм, 2011, с. 649, 650, 662). Идеолог наших дней аккуратно забыл только одно утверждение обманутого и обманувшегося американца: будто самыми примерными и правильными детьми были воспитанники школ-интернатов.

Проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, каких результатов хотела добиться власть. Вряд ли кто-то поверит, что коммунистический режим на самом деле *строил коммунизм* и хотел воспитать *строителей коммунизма*. Были, конечно, среди учителей и воспитателей наивные энтузиасты и твердолобые фанатики, которым казалось, что они хотят именно этого. Но какую реальность подразумевали сами идеологи в словах «строитель коммунизма», «политическая сознательность», «идейная убежденность»? Бесконечно повторение однообразных формул скрывает разнобой, неопределенность и невнятицу.

Бронфебреннер видел у советской системы четкую цель – «воспитание коммунистической морали». Он не сам это сообразил или придумал, а повторил за главным авторитетом –

Лениным, который на третьем съезде РКСМ прямо этого требовал: «Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали» (В. И. Ленин. ПСС, 1963. т. 41, с. 309). Но редакционное примечание на странице 28 опровергает Бронфенбреннера, а значит, и Ленина. Оказывается, воспитание коммунистической морали – одна из *задач,* а *цель* у нас другая – «всестороннее, целостное развитие личности». Надо ли понимать так, что всестороннее развитие включает в себя коммунистическую мораль? Это никому неизвестно – и никогда не было известно.

В начале шестидесятых годов власть проводила грандиозную идеологическую кампанию – «Учиться жить и работать по-коммунистически». Один из первых в Советском Союзе опросов общественного мнения был посвящен реалиям и перспективам «разведки коммунистического будущего», но результаты оказались печальными. Респонденты, в том числе передовики и ударники, не знали, что это такое, и даже плохо понимали девиз движения: то ли «учиться жить и работать по-коммунистически», то ли «по-коммунистически работать, учиться и жить». Руководитель опроса Борис Грушин писал (уже в нашем веке), что «все без исключения типы опрошенных идут, как говорится, кто в лес кто по дрова, ярко демонстрируя отсутствие у них единых и четких представлений и о *критериях* „коммунистичности“ вообще, и о существе движения за коммунистический труд в частности» (Б. А. Грушин. Четыре жизни России …Жизнь 1-я, с. 255). Грушин признается, что его обескураживали простодушные представления о светлом коммунистическом будущем, сводившиеся к элементарным нормам человеческого общежития: при коммунизме не будет пьянства, хулиганства, мордобоя, воровства, сквернословия…

К 50-летию комсомола было принято постановление ЦК КПСС о задачах коммунистического воспитания. В нем написано все то же самое, что во всех подобных постановлениях, решениях, указаниях и выступлениях. Сначала отмечены высокие политические и моральные качества советских юношей и девушек. Сразу вслед – грозное предупреждение о «резко обострившейся» идеологической борьбе, в которой империализм делает ставку на идейное разоружение молодежи. *Резкое* (или *небывалое*) обострение борьбы – это было всегдашнее и неизменное положение дел. «В этих условиях», указывает постановление, «задача состоит прежде всего в том, чтобы…». Слово *задача* – в единственном числе, но задач набирается на несколько страниц убористым шрифтом. «Готовить стойких и самоотверженных борцов за победу коммунизма», «жить и бороться по-ленински», «формировать у юношей и девушек коммунистическое отношение к труду», «воспитывать подрастающее поколение в духе коммунистической морали», «повышать революционную бдительность комсомольцев» и т. д. (Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов. – М.: Издательство Политической литературы, 1972, с. 193, 194). Среди задач мелькает и «всестороннее развитие личности» (с. 199). То есть это все-таки задача, а не цель, причем не главная из задач, а последняя. Понятия цели в постановлении нет. Но требуемый результат назван достаточно внятно и откровенно: «Вся воспитательная работа должна способствовать успешному выполнению решений XXIII съезда КПСС» (с. 195). То есть именно ради выполнения решений съезда надо формировать самоотверженных борцов за коммунизм, повышать их революционную бдительность и т. д.

По моему убеждению, реальной целью коммунистического воспитания было «выполнение решений» власти, то есть покорность, молчание, страх, безропотный труд на государство.

За пять лет до этого постановления, еще в хрущевские времена, тогдашний секретарь по идеологии Ильичев в установочном докладе на пленуме (18 июня 1963 года) явно провозглашал именно такую цель воспитания, называя ее «весами»: «Весы, на которых взвешиваются плоды воспитательной работы, – это те же самые весы, на которых взвешива-

ются результаты труда советских людей» (Л. Ф. Ильичев. Очередные задачи идеологической работы партии. – М.: Госполитиздат, 1963, с. 30).

Через пятнадцать лет после постановления и через двадцать лет после Ильичева генсек Андропов говорил то же самое, требуя от идеологических кадров усилить коммунистическое воспитание: «А критерий оценки их деятельности должен быть один: уровень политического сознания и трудовой активности масс» (Ю. В. Андропов. Ленинизм неисчерпаемый источник…, с. 472).

§3. Вопросы остаются нерешенными

Идеологическая обработка всего населения, а детей и молодежи в особенности, не ослаблялась никогда, но требования усилить ее раздавались постоянно. Почему?

Понимала ли власть неудачу своих пропагандистских внушений? Или не понимала? Верила ли сама собственной пропаганде? Если да, то насколько? Если не верила, то ясно ли видела границу между реальным положением дел и его «пропагандистским обеспечением»? Верила ли власть, что ее пропаганде верит население?

Как в действительности люди – и взрослые, и дети – воспринимали пропагандистскую картину мира? Если верили, то чему и насколько? Если не верили, то чему и насколько? Если пытались игнорировать, то в какой мере им это удавалось?

Как пропагандистские внушения взаимодействовали с реальностью? Какие последствия при этом возникали?

При коммунистическом режиме все эти вопросы были закрыты для обсуждения. По строгому счету – и для обдумывания: советскому человеку не полагалось спрашивать и допытываться. В наши дни все эти вопросы стали предметом полемики – в широком спектре от научных дебатов до эмоциональных споров со взаимными обвинениями, но и сегодня остаются не решенными и загадочными. Причем настолько, что один и тот же исследователь в одном и том же исследовании высказывает два противоположных суждения.

«Советский пропагандистский аппарат ловок и гибок, – писал политолог-советолог Илья Земцов, раскрывая понятие „пропаганда“ в книге „Советский язык – энциклопедия жизни“. – Пропагандистские стереотипы не проходили бесследно, они исподволь, накапливаясь, оседали в сознании человека, и он, не осознавая и часто не желая, сживается с ними и, не веря, следует им» («Советский язык – энциклопедия жизни» – М.: Вече, 2009, с. 389). Но в разделе «агитация» он утверждал нечто совсем иное: «Через всю жизнь советского человека – от рождения до глубокой старости – проходят различные агитационные кампании. Убогие, шаблонные и схоластические, они оставляют в его сознании глубокий след, но полностью поработить его не могут» (с. 19).

Александр Бикбов в ряде работ доказывает, что советская идеология активно эволюционировала, что официальная риторика, гибкая и подвижная, становилась индикатором сдвигов в основаниях режима – «не всегда объявленных символических революциях» (Александр Бикбов. Тематизация личности как индикатор скрытой буржуазности в обществе зрелого социализма. – В кн.: Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. – М.: Модест Колеров. 2007, с. 404). Такой символической революцией, полагает исследователь, было появление понятий «личность» и «потребитель». Риторика все благосклоннее относилась к сфере «личных потребностей», поэтому «зрелый социализм» сближался с буржуазным обществом, а «новая личность стремительно и наперекор политическим императивам приобретала (мелко) буржуазные черты» (с. 415). Исследователь не пояснил, к сожалению, что он понимает под словами «буржуазный» и «мелкобуржуазный», поэтому мне трудно его понять. Испытав на себе советскую идеологическую формовку, я вынесла из нее убеждение, что эти слова не значат ничего – кроме угрозы со стороны того, кто их произносит.

Алексей Юрчак, в противоположность Александру Бикбову, утверждает в монографии «Это было навсегда, пока не кончилось», что советская идеология послесталинского времени все больше окостеневала, и отражением этих процессов становилась стандартизация риторики. «Каждое новое высказывание стало строиться как имитация другого высказывания, уже ранее кем-то написанного или произнесенного. <…> Идеологические тексты становились все более предсказуемыми, похожими друг на друга на уровне формы <…> Язык

идеологии превратился в тот „дубовый“ и „кондовый“ язык 1970-х, который многим хорошо знаком по бесконечным речам Брежнева, передовицам газет и выступлениям местных партийных руководителей» (Алексей Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. – М.: НЛО, 2014, с. 555). *Дубовый* язык, утверждает исследователь, все больше утрачивал традиционную роль идеологии – описывать действительность в духе определенных идей и ценностей. Он лишался собственного смысла, но стал для так называемой «нормальной» советской молодежи «сферой творческого создания новых смыслов, неожиданных для государства» (с. 561). То есть необъявленные символические революции совершались силами воспитуемых, а не воспитателей. Что за смыслы и революции? Респонденты профессора Юрчака откровенно и даже с удовольствием рассказывали об этом. «Наталья вспоминает: „Когда нам хотелось сходить на выставку или в кафе во время работы, мы говорили начальнику отдела, что нас вызывают в райком“. Подобные приемы присвоения времени, институциональной власти и дискурсов государства, посредством цитирования его авторитетных форм, происходили на всех ступенях партийной иерархии, включая партийные комитеты» (с. 239). Что ж, заурядные хитрости, хотя доступные не всем, а только членам *комитета* – партийного или комсомольского. Мне кажется странным описывать такие действия высоким слогом – как *сферу творческого создания новых смыслов*. Но в этом особенность книги Юрчака. Лукавое приспособительное поведение советской молодежи он описывает либо высоким слогом, либо специфическими терминами, в которые вкладывает высокий смысл.

То самое поведение, которое можно назвать хитростью, трусостью, цинизмом, конформизмом, соглашательством, лицемерием, двоемыслием, безответственностью, беспринципностью, антипатриотизмом, антигражданственностью, «до лампочки», «наплевать» (и другими нехорошими словами), предстает в монографии как «принцип вненаходимости» и «принцип детерриториализации». (Последнее слово совсем непроизносимо и нечитаемо)

Принцип вненаходимости (то есть «ни за – ни против» государства, а якобы где-то «вне» его) истолкован как отношение *политическое*, которое вело «к подрыву смысловой ткани системы», ибо меняло «смысл ее реалий, институтов и членства в них» (с. 565).

С одной стороны, с этим не поспоришь. Конечно, все эти члены комитетов, которые прогуливали работу и лекции, прикрываясь райкомом… да, они систему подрывали. С другой стороны, уж очень ловко они устроились. В советские годы они преспокойно считали себя «нормальными» людьми, а теперь и вовсе оказались борцами с режимом. Они, видите ли, изнутри опустошали идеологию («авторитетный дискурс», в терминах Юрчака). Мне кажется, что для проблемы самопонимания советского человека это решение ложное. Недаром в монографии вообще не упоминается страх. Последние советские поколения тоже его испытывали, пусть и не в такой мере, как поколения родителей, бабушек и дедушек. Страх плохо сочетается с пониманием самого себя как «нормального» человека. По-моему, совсем не сочетается. Позиция же *вненаходимости*, «ни за – ни против» неизбежно сталкивается с такими действиями государства, когда молчать, а тем более тянуть руку в «единодушном одобрении» означает поддерживать преступление. Такие болезненные точки фактически обойдены в книге. В ней всего дважды упоминается война в Афганистане вместе с позицией двух «ненормальных», которые вслух осудили вторжение и пострадали за это. Вовсе не упоминается расстрел южнокорейского пассажирского самолета 1сентября 1983 года. В те годы я уже была не ребенком, все понимала, испытывала к режиму негативные чувства, но молчала. У меня от этого погибли остатки самоуважения. «Нормальные» тоже молчали. Как они сохранили при этом сознание собственной «нормальности»? Как сохранили самоуважение? По-моему, это вопросы немаловажные.

«Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Так завершает Пушкин статью «Вольтер». У советского человека независимости не было, а страх был. В таких условиях самоуважение становилось проблематичным

(по-моему, невозможным). Пропаганда, безудержно хвастая, обязывала людей гордиться тем, что партия их «ведет» от победы к победе. Прочитав за последние месяцы тонны советских газет, журналов, пропагандистских пособий и методических разработок, чего только ни встречала. Вот, например, стихи под названием «Советский человек»: «За ним уверенность и знания. Его величество народ, С бессмертным Лениным на знамени Ведомый партией вперед». Это стихи Алексея Бодренкова, приведенные в книге Николая Ветрова «Я – гражданин Советского Союза» (М.: Советская Россия, 1978, с. 41—42).

С самого беззащитного возраста дети поступали именно в такую идеологическую обработку. *Коммунистическое воспитание подрастающего поколения* поглотило огромные ресурсы и необъятное время. Какой след оно оставило? В чем и насколько поработило ребенка? Условия для идеологической формовки детей были для режима наилучшими: родители наложили печать на уста и никак, ни словом не противодействовали детсадовскому, школьному, октябрятскому, пионерскому, комсомольскому агитпропу. Многие даже поддерживали – по осторожности или по убеждению. Только в двадцатые годы, как показывает Евгений Балашов в исследовании «Школа в российском обществе 1917—1927 гг.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2003), дети существовали в «биполярном» нравственном мире: «Школьники постоянно чувствовали различие между тем, что внушали в школе и дома. Мальчик писал в сочинении: „В школе слышим одно, а дома другое. Не знаю, как лучше. Пусть бы сами учителя поговорили с родителями. Было бы легче“» (с. 156). С тридцатых годов и до конца советской власти ничего «другого» дети в семье не слышали. Такое положение было общим правилом, почти не знавшим исключений.

§4. Удалось ли коммунистическое воспитание?

Удалось режиму коммунистическое воспитание или не удалось – вопрос дискуссионный. Точнее сказать так: существуют изолированные разноречивые мнения, дискуссия не ведется, критерии удачи или неудачи не обсуждаются.

Катриона Келли в книге «Товарищ Павлик. Взлет и падение советского мальчика-героя» (М.: НЛО, 2009) полагает, что воспитание не удалось. «Советская обработка детей (если не считать стремления привить общечеловеческие ценности – честность, трудолюбие и прочие, характерные для любого нравственного общества всех времен) не сумела выработать в них той преданности официальной идеологии, на которую рассчитывали политические лидеры и пропагандисты» (с. 223). Но в другой своей книге, «Children'sworld», исследовательница разделяет точку зрения Евгения Замятина о полной победе официальной индоктринации и полном поражении семьи в борьбе за ребенка.. «Evgeny Zamiatin, in essays written non long after his emigration to France, evocated the tipical Soviet child as „an eight-years-old grown man", turned into automaton by political indoctrination imposed in him in schools. For Zamiatin, the fact, that „the influens of the family losed the battle with the influens of the school" was both obvious and tragic» (Catriona Kelly. Children's world. Growing up in Russia 1890—1991. – Yale university Press, 2007, с. 80). Замятин характеризовал исторический период тридцатых годов, но возникшее при сталинизме подчинение семьи идейной обработке детей сохранялось до конца советской власти.

Борис Фирсов и его ученики и последователи придерживаются противоположного мнения: коммунистическое воспитание не удалось именно потому, что семья победила в борьбе за душу ребенка. В сборнике «Разномыслие в СССР» Михаил Рожанский излагает это убеждение так: «Особое мирочувствование тех, кто был детьми в 50—80-х, Борис Фирсов объясняет „умной силой" их родителей, взявшей верх над обскурантизмом доктринального воспитания» (Разномыслие в СССР: 1945—2008. – СПб.: Издательство Европейского университета в Петербурге, 2010, с. 202).

Но что такое эта *умная сила*, как она боролась с идеологическими внушениями агитпропа? Оказывается – никак. Умной силой, здравым смыслом, щадящим гуманизмом Борис Фирсов называет скрытность и молчание родителей, их невмешательство в дело государственной идейной формовки детей.

«Взрослые ограждали, вернее сказать, спасали нас от преждевременного разочарования жизнью, внутри которой мы нераздельно существовали. Они не открывали нам глаза на несправедливость реального жизнеустройства страны победившего социализма, но и воздерживались от того, чтобы оптимистически представлять развитие страны. <…> Этот щадящий гуманизм должен быть по достоинству оценен. Вследствие этого моя мама не обсуждала со мной политические проблемы. На судьбе репрессированного отца лежало ее жесткое табу» (Борис Фирсов. Разномыслие в СССР: 1940—1960-е годы. История, теория, практика. – СПб.: Европейский дом, 2008, с. 222). И еще раз: «Родители не стали омрачать молодые годы своих детей. „Былое" не должно было угнетать „думы" молодых. Наверняка не расчет, а родительская любовь подсказала им, что без этого гнета детям будет лучше до поры, когда они, сами столкнувшись с системой, уже смогут принимать собственные решения» (с. 201).

С одной стороны, такое мнение кажется мне странным. Я бы сказала – попыткой выдать нужду за добродетель. Борис Фирсов сам же пишет: «Лжецами мы не рождались, но становились ими под влиянием господствующих правил советской жизни» (с. 202). Можно добавить: при молчании и невмешательстве семьи, оставлявшей ребенка один на один с государственной ложью.

С другой стороны, я его очень понимаю, потому что речь идет о наших любимых и любящих родителях, проживших трагическую жизнь под непреодолимым гнетом государственного насилия, страха и лжи. Дети и внуки раскулаченных, расстрелянных, отсидевших, сосланных, или отсидевшие сами, они всё знали и понимали, но молчали. Не сила и гуманизм, а страх за нас и за себя замкнул им уста. «Был страх, это правда», – призналась моя мама, Надежда Васильевна Текучева, родная внучка раскулаченного, сосланного и расстрелянного «врага народа». Но призналась она уже в новом веке.

Роберт Шакиров в книге в книге «Школа и общество» (Казань: б.и., 1997) полагает, что «школа потерпела полное поражение на фронте воспитательной работы, на фронте воспитания молодежи в духе коммунистических идеалов» (с. 92). Вопрос о причинах неудачи он считает «неимоверно сложным» (с. 92) и высказывает четыре предположения. Первое вызывает лишь нервный смех: виноват президент Рейган и его «сверхсекретная операция по развалу СССР» (с. 92). Но затем автор переходит к делу, объясняя неудачу теми внутренними особенностями, которыми отличалось советское воспитание. Во-первых, начетническим навязыванием «единственно правильного взгляда», подменявшего убежденность «воспроизведением определенных цитат» (с. 93). Во-вторых, идеологической перегрузкой: «доза» политического воздействия «долго выходила за пределы разумного» (с. 93). В-третьих (а по-моему – в-главных, с этого следовало начинать), расхождением идеологии с реальностью: «В нашей воспитательной работе (как и во всей партийной агитации и пропаганде) мы, к сожалению, исходили не из действительности, а из желания выдавать за нее желаемое» (с. 94).

Если допустить, будто целью агитпропа было внушение коммунистических идеалов (что бы это ни значило), то воспитательное поражение режима очевидно и причины его не кажутся мне неимоверно сложными. По-моему, они тоже очевидны. Воспитывает жизнь, а не цитаты. «Учительская газеты» совершенно откровенно требовала от учителей постоянной пропаганды: «Учитель-пропагандист. Это качество – принадлежность самой учительской профессии. Каждый урок, каждое классное и внеклассное мероприятие – не что иное, как пропаганда идей Коммунистической партии, нашего советского образа жизни, утверждение принципов и норм коммунистической морали» (Учительская газета, 12 января 1980 года, №6, с. 2).

Реальный советский образ жизни, реальная «коммунистическая мораль» – вот они и воспитывали. Ежедневно и эффективно. Учителю-пропагандисту тягаться с реальностью бесполезно. «Руину не прикроешь страницей „Правды“» – писал Иосиф Бродский в эссе «Less than one», но он настаивал, что воспитание детей и взрослых режиму удалось – если не всецело, то в огромной степени. Целью воспитания он считал «капитуляцию перед государством» и «укорочение личности».

«Повиновение становилось второй натурой и первой, – пишет Бродский. – Человек с головой, конечно, пытался перехитрить систему – изобретая разные обходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это уходит вся жизнь целиком. Но ты поймешь, что сплетенная тобой паутина – паутина лжи, и. несмотря на любые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. Это – окончательное тожество системы: перехитришь ты ее или же окончательно примкнешь к ней, совесть твоя одинаково не чиста». И еще раз: «Я не видел человека, чья психика не была бы изуродована смирительной рубашкой послушания».

К этой точке зрения я полностью присоединяюсь и считаю, что ярким образцом укорочения личности и капитуляции перед государством была «нормальная» жизнь, которую так позитивно изобразил Алексей Юрчак и о которой так спокойно рассказывали его собеседники.

Что такое коммунистическая мораль, никто не знал и знать не хотел, а что такое «высунуться» и получить по голове, знали все. В том числе на примере Иосифа Бродского.

По сути, коммунистическая мораль и смирительная рубашка послушания – это было одно и то же, а конституционные права советского человека совпадали с капитуляцией перед государством. Пропагандистские пособия говорили об этом до странности откровенно: можно предположить, что авторы и впрямь не видели разницы, поэтому и не находили нужным как-то камуфлировать такое положение дел.

В той самой книге Николая Ветрова «Я – гражданин Советского Союза», где партия ведет «его величество народ», процитированы слова Андропова, тогда еще не генсека, а председателя КГБ: «На Западе можно слышать рассуждения, – говорил член Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропов в докладе, посвященном 100-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, – о том, что изложенные в Конституции права и свободы советских граждан сами по себе достаточно широки, но они, дескать, сводятся на нет тем, что их применение и пользование ими поставлено и зависимость от интересов государства и общества» (с. 55). Разумеется, все понимали, что эти «рассуждения» полностью соответствуют действительности, а манифестации под лозунгом «Соблюдайте Конституцию» не что иное, как ярая антисоветчина, ибо в реальности Конституция не закон, а декоративная бумажка. И Николай Ветров с пафосом это подтверждает: «Но как же иначе? Советские люди и мыслить не могут по-другому. Им дороже всего на свете интересы государства и общества, и они не видят в этом никакого противоречия. Только таким образом в нашей стране личность обретает свободу» (с. 55). Точно по Оруэллу – «Свобода – это рабство», а интересы государства и общества подразумеваются одинаковыми.

§5. Патологическая нормальность

Государственной идеологией, которая называлась марксизмом-ленинизмом, детей обрабатывали неотступно и неустанно, лошадиными дозами. Социализм, коммунизм, Маркс, Ленин, дорогой товарищ Леонид Ильич, наши великие трудовые свершения, мудрая, неизменно миролюбивая политика родной коммунистической партии, американские поджигатели войны – все это в жизни детей присутствовало ежедневно и постоянно. Парадокс – даже абсурд, а не парадокс – состоит в том, что всего этого словно бы вовсе не было. В реальном общении с ребенком родители строго избегали разговоров на такие темы. Между собой дети тоже их не обсуждали. Родители старались, чтобы дети не слышали, как обо всем этом судят взрослые. Политика «жила» только в особых местах, в особое время и только по команде и принуждению. Вне специального хронотопа, по собственной воле ребенку было запрещено затрагивать предметы, которые относились к ведению коммунистического воспитания и пропаганды.

Выразительное доказательство мы найдем в современных учебных пособиях по исследованию детства. В коллективной монографии «Феномен детства в воспоминаниях» (М.: Издательство УРАО, 2001) разработан список вопросов для биографирования советского детства. Список очень подробный и тщательный, включает в себя сотни вопросов, требующих подчас немалой интимной откровенности от респондента. Семья, школа, материальные условия, дружба, досуг, искусство, природа, спорт, первые влюбленности, пробуждение сексуальности, сны и фантазии, семейные ссоры и наказания, даже восприятие запахов… – в вопросах есть все, кроме «политики». Исследуя советское детство, составители списка четко воспроизвели советскую установку на табуирование политического. Проведенное по этим вопросам интервью опубликовано с комментариями специалистов (историка, психолога, антрополога) в 12-м выпуске Трудов кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии: Биографическое интервью – М.: Издательство УРАО, 2001. Студентка кафедры расспрашивала женщину по имени Татьяна, чье школьное детство пришлось на семидесятые годы. Студентка не задавала вопросов о политике или марксизме-ленинизме, а Татьяна, поднимавшая многие темы по собственной инициативе, не сказала ни слова о том, что относилось к сфере «коммунистического воспитания». Удивительно, что такое умалчивание не привлекло внимание ни историка, ни психолога, ни антрополога. По моему мнению, Татьяну, как и всех нас, в детстве жестко приучили считать все идеологические и политические темы закрытыми для обсуждения и не упоминаемыми по собственной воле.

В новейшем сборнике воспоминаний «Школа жизни» (М.: АСТ: редакция Елены Шубиной, 2015, составитель Дмитрий Быков) школьное детство 60—80-годов реконструируется силами семидесяти мемуаристов, победивших в открытом конкурсе. Все тексты сборника откровенные, честные (он так и носит подзаголовок «Честная книга»), но «коммунистическое воспитание» вспоминают только те несколько человек, кто нажил опасные проблемы за отклонение от идейного status quo. Причем отклонение могло быть в любую сторону: протестовала ли девочка против нарушения комсомольского устава, слушал ли мальчик зарубежные «голоса» – и то, и другое вызывало репрессии. Мемуаристы ни разу не вспоминают события в Чехословакии и войну в Афганистане, один раз – «угрозу ядерной войны», один раз – «политинформацию». Все эти события и угрозы присутствовали в жизни советского школьника постоянно, но говорить о них по собственной воле не полагалось. Не вспоминают «бывшие дети» и дорогого товарища Леонида Ильича, хотя у большинства вся их школьная жизнь прошла под его бровями.

В семидесятые годы существовала «клятва советской молодежи», которую московские школьники произносили на Красной площади, а немосковские – на классных часах и ленин-

ских уроках. «От имени юношей и девушек Страны Советов мы обращаемся к родной партии, к непобедимой Родине со словами сыновней верности и безграничной любви. <…> Вся советская молодежь горячо одобряет и безраздельно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику родной Коммунистической партии, деятельность ленинского ЦК КПСС, его Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. <…> Высоко нести знамя революционного и боевого мужества – Клянемся!» (Л. Спирин, П. Конаныхин. Идейно-политическое воспитание школьников. – М.: Просвещение, 1982, с. 69).

Что значила для школьников эта клятва? Пионерскую клятву еще помнят, а эту забыли начисто. Она не значила ничего кроме обязанности артикулировать ее. Каждый человек с советским детством это знает, поэтому ни о чем подобном не вспоминает и не упоминает. Но что значило для школьников (собственно, для нас, для меня) произнесение слов, которые ничего не значили в реальной жизни? Этим мертвовоговорением воспитывалось – что?

Классическая точка зрения, осененная именами Вацлава Гавела и Александра Солженицына, состоит в том, что тем самым воспитывалась «жизнь во лжи». Она же, по определению Бродского, – «капитуляция перед государством». Новейшая и завоевавшая популярность точка зрения Алексей Юрчака требует отказа *от бинарных оппозиций* (*истинное лицо* против *маски* или *реальное поведение* против *притворного*) и состоит в том, что советская молодежь вырабатывала у себя *политическую позицию вненаходимости*. Бинарные оппозиции, утверждает Юрчак, неадекватны советской реальности. Например, голосование «за» или «молодежная клятва» в бинарных оппозициях интерпретируется буквально: либо как истинное отношение, либо как притворное. Но для «нормальной» советской молодежи, избегавшей и диссидентства и комсомольского активизма, это не было ни тем, ни другим, а было лишь исполнением ритуала, конвенции, того, что «положено». Произносимые слова утрачивали репрезентативную функцию и приобретали перформативную. «Перформативный сдвиг официального дискурса» – такими терминами описывает Юрчак эту ситуацию и преподносит ее не просто как «нормальную», но как заключающую в себе творческий и протестный потенциал. Советская молодежь научилась по-своему использовать идеологию: воспроизводить идеологические формы, «сдвигая» их содержание, «открывая новые, неподконтрольные пространства свободы» (с. 83). Именно перформативный сдвиг, полагает исследователь, «сделал этих людей единым поколением» (с. 83).

Кевин Платт и Бенджамин Натанс, рецензируя книгу Юрчака, соглашаются с этим утверждением и полагают, что «последнее советское поколение не только могло избежать, но и, как правило, избегало силового поля официального дискурса» (Кевин Платт и Бенджамин Натанс. Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось». – НЛО, 2019, №101, https://goo.gl/ndU2qq).

Ирина Каспэ, высоко оценивая концепцию Юрчака в целом, полемизирует с ней в одной частности: «Настойчивость, с которой респонденты Юрчака подчеркивают, что в позднесоветские десятилетия „жили нормально“, побуждает заподозрить здесь симптом социальной болезни —некий сбой в работе механизмов нормативности. Сам факт бытования формулы „нормальная жизнь“ косвенно свидетельствует об акцентированном и при этом не находящем разрешения (социальные психологи, возможно, сказали бы „невротическом“) изоляционистском внимании к нормативным стандартам» (Ирина Каспэ. Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. – НЛО, 2010, №101. https://goo.gl/eTlez1).

Помня собственный советский опыт и разделяя классический «бинарный» подход, я с этим не согласна. «Перформативный сдвиг» – то же самое, что «серый равнодушный океан голов и лес поднятых рук на митингах», о чем пишет в своем эссе Бродский. Голосование по команде и говорение по команде – это несомненное подчинение *силовому полю офици-*

ального дискурса. Если клятва – это не клятва, а всего лишь оболочка мертвых слов, если голосование – это не голосование, а механический жест, если Конституция – это не закон, а бумажка, если выборы – это не выборы, а явка на избирательный участок… – такую жизнь надо назвать патологической. А называть ее нормальной – это разделять максиму Родиона Раскольникова: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» (Федор Достоевский. Преступление и наказание. Часть первая, II).

Четверть века назад сущность советской ритуальности и роль послушных участников осознавались четко и ясно: «Ритуал служил обязательной проверкой лояльности члена общества. Участие в ритуале означало пусть формальное, но тем не менее согласие участвовать в построении коммунизма, т. е. нести свою долю ответственности за происходящее» (М. А. Кронгауз. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма. – В кн.: Ритуал в языке и коммуникации: Сборник статей. – М.: Знак; РГГУ, 201. с. 12. В основе статьи лежит доклад сделанный автором в 1991 году на конференции «Язык и власть. Языки власти»).

Иллюзия «вненаходимости» – это совершенно понятная попытка снять с себя вину за участие в патологических практиках «советского образа жизни». Одобрение «перформативного сдвига», то есть ловкого умения обращать идеологию себе на пользу, – то же самое. Александр Зиновьев описывал эту ловкость с тем презрением, которого она заслуживает. Он различал в советской жизни *номинальную* и *практическую* идеологию: «Первая облечена в лицемерные формы добродетели, вторая предельно цинична. Первая ориентирована на пропаганду и оболванивание людей, вторая – на практическое употребление» (Александр Зиновьев. Коммунизм как реальность. Пара беллум. – М.: АСТ: Астрель, 2012, с. 274).

Советское воспитание долго нас уродовало и сильно изуродовало. Мы, советские поколения, передали нашу политическую уродливость нынешним поколениям, – сегодня мы видим это собственными глазами. Главным пороком был, по моему убеждению, тот, что мы не хотели нести никакой ответственности за действия власти, которую якобы единогласно выбрали и которую якобы единодушно поддерживали. У нас не было сознания неотъемлемых *прав человека*, а значит, и сознания личной ответственности. Бесправие и безответственность – вот реальные результаты советской идеологической обработки.

В *передовом* коммунистическом воспитании проявлялись глубоко *архаические* черты, из которых самыми резкими были две. Первая, под именем *партийного руководства,* по сути соответствовала тем идеям, которые отстаивал герой Льва Толстого: «Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании варягов: „Княжите и владейте нами, мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем“» (Лев Толстой. Анна Каренина. Часть восьмая, XIV). Константин Левин считал такое положение дел великим *правом*, купленным дорогой ценой. Советская реальность именно такой и была. Ее слегка камуфлировали утверждением, что партия выражает интересы народа, что народ *тоже* решает. Но бывало, что не камуфлировали, а говорили прямо: «Сила советского народа – в руководстве партии, в сплоченности вокруг Коммунистической партии. Для нашего народа нет ничего выше и священнее, чем руководство партии, дело партии, дело коммунизма» (Есть такая партия. – М.: Планета. 1974. Страницы не нумерованы, это последние русские слова текста, затем начинается резюме по-английски). То есть не для партии выше всего дело народа (класса, трудящихся), не в народе – сила партии, а наоборот.

Вторая архаическая черта – типичное славянофильское антизападничество. *Загнивающий* капиталистический Запад доживал последние дни, а наша страна, построившая социализм, уверенно шла к светлому коммунистическому будущему. Классовая борьба и а*нтагонистические противоречия* раздирали Запад, зато у нас «отношения между всеми социальными группами социалистического общества (рабочими, кооперированными крестьянами, интеллигенцией) есть отношения дружественного сотрудничества» (Философ-

ский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983, с. 259). Ровно то же самое писал и Алексей Хомяков: «Русской земле известно различие состояний, более или менее определенных, и даже сословий, но неизвестны ни вражда между ними, ни ожесточенное посягание одного на права другого, ни оскорбительного пренебрежения одного к другому» (Алексей Хомяков. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивилизации, 2011, с. 405).

Советская идеология не выдерживала ни анализа, ни сличения с реальностью, но идеологическому воспитанию дети подвергались с самого раннего возраста, поэтому последствия были тяжкими. Детскую доверчивую память, детское доверчивое восприятие «забивали» идеологическими штампами. В статье «Язык распавшейся цивилизации» Мариэтта Чудаков, анализируя «Русский ассоциативный словарь», вышедший уже в новом веке (2002), показывает, «как глубоко пустила корни советская порча языка» (Мариэтта Чудакова. Новые работы: 2003—2006. – М.: Время, 2007, с. 333). Ассоциативный словарь составлялся на основе анкетирования студентов, то есть того поколения, которое попало в идеологическую формовку в самом конце советской власти, но на слово «строитель» самой частой реакцией было слово «коммунизма», на слово «активный» – слово «комсомолец»… и так далее в том же духе, увы. Эти словесные штампы были проявлением ментальных штампов, нагруженных переживанием вины, страха и обязательного счастья. Оптимизм и уверенность в завтрашнем дне были идейной обязанностью каждого советского человека – в несомненном противоречии с реальностью. «Привычное для нескольких поколений россиян чувство опасности и тревоги» отмечет Борис Дубин, и каждый из нас по себе знает, что он абсолютно прав (Борис Дубин. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011, с. 363). В детстве я не любила свою жизнь, но чувствовала так: если все будет *хорошо*, то будет продолжаться все та же тоска и скука – школьная подневольность и очереди в поликлинике; но если будет *плохо*, то начнется война и такой ужас, о котором и подумать страшно.

Один раз в жизни я встретила человека, который пылко вспоминал счастье нашего советского детства. Это было в Российской государственной библиотеке в июле 2015 года. Я услышала слова: «Детство у меня было счастливое, советское…». Говорила женщина лет сорока пяти. Я уже писала эту книгу, и кинулась расспрашивать. Женщину звали Ирина, отвечала она с готовностью, обрадовавшись слушателю. Детство Ирины прошло в рабочем поселке в Талдомском районе Московской области. В школу она пошла в середине семидесятых. Школа была прекрасная, учителя замечательные – умные, внимательные, сердечные. Знания они давали такие глубокие и прочные, что для поступления в московские вузы никому из выпускников не нужны были репетиторы. После уроков тоже была интересная, содержательная жизнь. Художественные, литературные, спортивные кружки. Бассейн! Музыкальная школа! Тут я все-таки переспросила: значит, в рабочем поселке был бассейн и музыкальная школа? Ирина слегка замялась: нет, не в поселке, но можно было ездить. Она вспоминала чудесные учебные передачи советского телевидения: «По третьей программе, помните?». Она рассказала историю (легенду). В начале восьмидесятых годов крупный чин с американского телевидения приехал в Москву. Он пришел в восторг от телепередач для советских школьников и решил сделать такие же для американских. «Они переняли, – вздохнула Ирина, – а мы все загубили. Ничего не осталось». Не то что я ей не верила. Ирина говорила правду, которую взлелеяла в памяти. Но эта правда уж очень расходилась с реальностью тех лет. Поэтому должно было появиться какое-то «но». И оно появилось. Оказывается, у Ирины не сложились отношения с одноклассниками: все десять школьных лет ее травили. За что? «Ну, я же была вся такая неземная, – грустно усмехнулась Ирина, – вся в музыке, литературе. Вот за это…»

Ирина не упомянула о коммунистическом воспитании, хотя несомненно, что учителя, о которых она вспоминала с такой любовью, все как один были воспитателями-пропагандистами. Иной возможности для учителей не существовало. Вся школьная деятельность была направлена на идеологическую обработку учеников. Абсолютно вся, а не только предметы гуманитарного цикла или внеурочные мероприятия. Изучение точных и естественных наук тоже было нацелено на коммунистическое воспитание. Методические брошюры об этом выходили одна за другой.

«Формирование коммунистического мировоззрения при обучении географии в V—VII классах» – М.: Просвещение, 1965. «Формирование коммунистического мировоззрения у студентов в процессе преподавания курса теоретической механики» – Л.: б.и. 1976. «Коммунистическое воспитание школьников в процессе обучения химии в средней школе» М.: МП СССР, 1977. «Формирование коммунистического мировоззрения в курсах химического и механического профилей» – Казань: КХТИ, 1978. «Коммунистическое воспитание учащихся на уроках математики» – Киев: Радяньска школа, 1983. «Формирование коммунистического мировоззрения и активной жизненной позиции учащихся в процессе обучения математике» – Ростов-на-Дону: б.и., 1984. И так далее и тому подобное.

Учителя, которые решительно не хотели быть коммунистическими пропагандистами, в школе не удерживались. Их увольняли или вынуждали уйти. Каждый человек с советским опытом знает такие примеры. Все остальные педагоги обязательно занимались идеологической обработкой детей. Вопрос заключается только в ее мере и характере. Обработка могла быть беспощадной и упорной, а могла сводиться к минимальным ритуалам. Педагоги позднесоветских лет, точно так же, как и дети той поры, избегают вспоминать о коммунистическом воспитании и о своем участии в нем. Мне известны только два исключения.

Лев Айзерман в книге «Испытание доверием. Записки учителя» (М.: Просвещение, 1991) рассказал драматическую историю. В 1980-м году педагоги одного из выпускных классов получили записки с ядовитыми эпиграммами. Анонимный сочинитель хорошо изучил своих наставников и знал, чем обидеть. Учителя были «потрясены» (с. 6) и, собрав весь класс, потребовали, чтобы аноним признался: «То, что он сделал – непорядочно, неблагородно. Мужество признания – во многом гарантия нравственности, сегодняшней и завтрашней» (с. 7). Через несколько дней рассказчику призналась, наедине, одна из лучших учениц: «Это сделал я». Учитель спросил: «За что?» (с. 7), хотя мог бы и сам догадаться. Девочка сказала: «Вы все нам лгали, обманывали нас. Вы же видите, что все вокруг происходит совсем не так, как пишут газеты, как говорите вы нам в школе. Скажите, разве вы в классе говорите обо всем, что сами видите, над чем сами думаете?» (с. 7). Словами девочки глава кончается. Педагог не написал, к сожалению, что же он ей ответил. Его книга советских лет – «Уроки нравственного прозрения» (М.: Педагогика, 1983) – включает самый минимум коммунистических реверансов, однако и этот минимум ужасен. Важность морали в нашей жизни обоснована материалами XXVI съезда партии (с. 26). Ценность творчества Льва Толстого – словами генсека, который высказался о Толстом, находясь в Туле. «Хочу обратить внимание на принципиальное значение этих высказываний Л. И. Брежнева…» (с. 70).

Леонид Лопатин в своих откровенных и глубоких воспоминаниях (тираж 350 экземпляров) себя не щадит: «Став учителем истории в 1966 г. и членом КПСС в 1968 г., я сам участвовал в формировании такого образа жизни. Ах, как же на своих уроках я возвеличивал Октябрьскую революцию! Разве не я врал детям о свободном творческом труде при социализме, скрывая от них принудительный труд колхозников, спецпереселенцев, трудармейцев, завербованных, да и просто рабочих, вынужденных трудиться за паек и унизительно низкую зарплату. Не является утешением и то, что делал это искренне. <…> При каждой теме по советской истории выливал своим школьникам, а с 1969 г. студентам мединститута столько вранья и идеологической глупости, что стыд за себя не прошел до сих пор. Если бы

по юношескому недомыслию я врал только на уроках!» (Леонид Лопатин. Советское образование и воспитание. Политика и идеология в 55-летних наблюдениях школьника. Студента, учителя. Профессора. Ничего личного. —Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2010, с. 14, 15). Увы, не только. Молодой педагог хотел быть откровенным с детьми, и ученики ему доверяли. Поэтому в совхозе на сельхозработах («на картошке»), увидев реальное состояние хозяйства и реальную жизнь села, дети спросили об этом учителя. А он, сельский уроженец, прекрасно знавший, что они видят типичное положение дел, заговорил про *отдельные* недостатки в *отдельном* совхозе. «Разве не в чем каяться учителям и родителям, внушавшим детям такое извращенное представление о советской действительности?» (с. 131).

В понимании роли родителей я не вполне согласна с Леонидом Лопатиным. Сами родители редко внушали детям извращенные представления о советской жизни, хотя не препятствовали школе обрабатывать детей. Родители внушали детям другое – чувства опасности и тревоги. Некоторые бессознательно, потому что сами жили с этими чувствами, некоторые сознательно, потому что наивная вера в нашу счастливую жизнь была небезопасна для ребенка и ее следовало подправить прививкой опасливой настороженности. Но эти чувства не полагалось проявлять, ибо советские дети были счастливы по определению. По моему опыту, *счастье* было неприятным долгом и тяжким грузом, потому что нашим счастьем нас постоянно попрекали в школе.

Конечно, и учителя, и семья были в очень трудном положении. Учителя лгали, родители молчали, но и те и другие должны были привить детям «*гарантии нравственности – сегодняшней и завтрашней*».

Дети, тем более маленькие, политикой и политическими фигурами не интересуются вовсе. Исследования постсоветских дошкольников подтверждали это и в девяностые, и в нулевые годы – вот, например, коллективная монография «Из жизни детей людей дошкольного возраста. Дети в изменяющемся мире» (СПб.: Алетейя, 2001). Но советских детей с самых малых лет настойчиво обязывали следить за политикой и *любить* определенных политических персон. Сознание советского человека с раннего детства формировали разорванным. Резкая граница, «недоступная черта» проходила между разными зонами жизни. Одна зона считалась самой важной, *сакральной*, но была и самой опасной. Там действовали особые нормы поведения. *В ней* нельзя было думать, а можно было только повторять заученные слова и жесты. Эта зона была по видимости всепроникающей – портреты Ленина висели даже в детских садиках. Но думать *о ней,* говорить *о ней* тоже не полагалось, поэтому она была выключена из жизни, элиминирована. Она была всегда и повсюду, но «недоступная черта» отчеркивала ее и перечеркивала, поэтому ее как бы и не было. По одну сторону границы, разделяющей зоны, – бесконечное официальное мертвоговорение, по другую – молчание и уклончивость в семье. *Советский образ жизни* искажал или разрушал самые интимные и глубокие отношения между детьми и родителями. Психолог Виктор Коган прослеживал этот процесс в давней уже статье «Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание»: «Язык двоемыслия, освоенный взрослыми, но трудный и для них, недоступен ребенку, из-за чего он то и дело попадает впросак, навлекая на себя родительский гнев. Если же этот язык и осваивается, то страдают семейные связи, ибо у ребенка самоопределение в семье вытесняется раздвоенностью его личного и семейного Я» (Вопросы психологии. 1992, №1—2, с. 20).

Чтобы обезопасить ребенка перед идеологией и государством, родители жертвовали в отношениях с ним искренностью и доверительностью. Мемуаристы горестно об этом свидетельствуют: «С родителями у большинства из нас особой задушевности не получалось. Может быть, потому, что и они своими родителями не были приучены разговаривать. Это объяснимо: слишком многое поколениям советских людей приходилось друг от друга скрывать. В массе своей это были молчащие поколения. Именно так недавно сказали о себе

несколько моих знакомых стариков. Этот последовательный „заговор молчания“ стал причиной „провалов в памяти“ и следующих поколений» (Школа жизни, с. 39).

§6. Движение к реальности

Изучение идейного развития познесоветских поколений в их реальном взаимодействии с государственной идеологической обработкой началось, по сути, только в новом веке. Предполагаю, что долгое время объективному исследованию препятствовала травматичность болезненного и унизительного опыта, пережитого в детстве и юности нами всеми.

Психолог Галина Орлова, изучавшая советскую *борьбу за мир* как одну из дискурсивных доминант брежневской эпохи, расспрашивала об этом «детей семидесятых» и обнаружила у своих собеседников немалые трудности при воспоминаниях о том времени: «Память о реалиях и личном участии в слишком советской, а потому стигматизированной практике вызывает ощутимый дискомфорт, тревогу, несет угрозу новым способам конструирования идентичности. Средства для выражения этого неудобного опыта в современной ситуации фактически отсутствуют. За неловким молчанием, окружающим полноту былой принадлежности к советскому, различимы очертания культурной травмы» (Галина Орлова. Неприкосновенный запас, 2007, №54. https://goo.gl/fPX9d1).

Я не соглашусь с Галиной Орловой только в одном: *полнота* принадлежности к советскому тоже, по-моему, нуждается в прояснении.

В предисловии к сборнику «Школа жизни» Дмитрий Быков признается: «Я отлично помню свой школьный опыт, он был отвратителен, поскольку двойная мораль уже свирепствовала, и травля, столь ярко и страшно показанная Железниковым и Быковым в «Чучеле», была уделом всех думающих детей. <…> Лично для меня попытка реконструкции тех времен довольно мучительна, но и мне есть за что поблагодарить их (времена)» (с. 7).

Всякий думающий человек, ребенок или взрослый, находился в унизительном и опасном положении, вынужденный подлаживаться к идеологическому вранью и сознавая себя винтиком, заложником и обманщиком. А я все-таки исхожу из того, что думающие люди составляли большинство населения. «*Такую войну с такими лагерями по простоте душевной не проходят*» – я разделяю этот вывод, сделанный замечательным писателем Борисом Крячко в романе «Места далекие, края-люди не здешние» (Дружба народов, 2000, №1, 2000, с. 88).

Мой опыт тоже был отвратительным, и благодарить за него мне вовсе не хочется. Но вечная благодарность вождю, партии, государству была идейной обязанностью каждого советского человека, в особенности ребенка. Формула «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» сменила формулу «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», но суть ее осталась прежней: облагодетельствованные советской властью, которая нам «все дала», мы должны были благодарить ее бесконечными «спасибо», а главное – *неустанным трудом*. Пропаганда открыто заявляла: если кто-то не испытывает благодарности, не чувствует себя вечным должником, а настроен критически, то единственно потому, что не желает *честно трудиться:* он *мещанин*, *нытик с иждивенческими настроениями*. Это была твердая и неизменная идеологическая установка.

В 1963 году о ней жестко напоминал Леонид Ильичев в том самом докладе на пленуме, после которого началась травля Иосифа Бродского, закончившаяся судом и приговором. «В наших условиях не идет речь о выборе: хочу – тружусь, хочу – бездельничаю. <…> Есть еще среди молодежи лежебоки, нравственные калеки, нытики, этакие безусые скептики. А от фыркающего скептицизма один шаг до чуждых настроений и взглядов. <…> Взбесившийся индивидуалист стремится удовлетворить свои хотения за счет окружающих» и т. д. (Л. Ф. Ильичев. Очередные задачи идеологической работы… с. 27, 40, 43).

Двадцать лет спустя именно нежеланием *честно трудиться* агитпроп объяснял борьбу *части* польской молодежи на стороне «Солидарности»: «Почему часть молодых людей про-

должает оставаться в плену враждебной пропаганды? Почему не изжиты в ее среде потребительские настроения, философия иждивенчества? Почему у некоторых юношей и девушек не в цене честный труд? Откуда апатия, стремление замкнуться в узком мирке личных интересов? <…> Из таких людей, затаивших злобу на то, что им не преподнесли райскую жизнь на тарелочке, и формируются члены подпольных организаций, обслуга нелегальных типографий, участники уличных беспорядков» (Ю. Орлик. Кому дорог польский дом. – Комсомольская правда, 1982, 5 октября, №229, с. 3). Получается, что в подпольных организациях состоят и в протесте участвуют апатичные иждивенцы, замкнувшиеся в узком мире личных интересов. Пропагандисты, не встречая и не ожидая гласных возражений, сами не слышали, что говорили.

Любое, даже малейшее недовольство было иждивенческим настроением наглого бездельника. Детям эту установку внушали особенно упорно. Я бы сказала – злорадно, пользуясь тем, что ребенок еще не может работать, как взрослый. Директор ростовской школы №32 В. Тяпкин в областной газете «Молот» давал методику обвинения детей. В его статье «Воспитывать чувство общественного долга» изображена такая сценка: мальчишка недоволен, что в магазинах «теннисок нет», а пожилой рабочий «проведя по лицу натруженной рукой, спокойно произнес: „А сам-то ты положил хоть копейку в общую копилку, чтоб вот так нагло требовать?“» (Молот, 1962, 16 октября, №244, с. 3). Из текста явно следует, что мальчишка ничего не *требовал*, тем более *нагло*. Он всего лишь хотел *тенниску* (то есть майку) *купить*. За родительские, понятно, деньги – своих у него еще нет. Но по схеме директора-пропагандиста – и всего агитпропа – он тут же превращался в наглого тунеядца, «взбесившегося индивидуалиста», который нагло требует райскую жизнь на тарелочке.

Эту схему я по себе очень хорошо помню. Ее применяли даже в детском саду, если ребенок давился детсадовской стряпней. Сама я, заевшаяся и наглая, хныкала над стаканом молока, хотя мне, бездельнице, его дали, а дети Африки умирают с голоду. Пей! Пока не выпьешь, из-за стола не встанешь!

§7. Вопросы о нашем политическом детстве

Для этой книги я составила список вопросов об идеологии, политике и коммунистическом воспитании – о нашем взаимодействии в детстве и юности с этими «зонами» советской жизни. Завидуя организационным возможностям кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии, где каждый студент обязан представить расшифровку подробного интервью о советском детстве, я эгоистически досадовала: вы спрашиваете о туфельках, плюшевых мишках и любимых лакомствах, но о ленинских зачетах и антисоветских анекдотах – молчите. Список складывался на основе личного детского опыта и сегодняшнего понимания тогдашней ситуации. На эти вопросы мне ответили 12 человек, поровну мужчин и женщин (включая меня – себе я их тоже задавала), самые старшие из которых родились в конце сороковых годов, самые младшие – в конце шестидесятых. Всем моим собеседникам выражаю глубокую благодарность. Большое спасибо и моим корреспондентам, которые согласились ответить на один из вопросов.

Вот список.

• *Какие самые ранние детские впечатления остались у вас в памяти как связанные с политикой?*

• *В раннем детстве, в младших классах школы приходилось ли вам думать о коммунизме? Если да, что же вы думали? Задавали ли вы старшим какие-либо вопросы о коммунизме? Если да, что же они отвечали?*

• *В каком возрасте вы узнали, что существует «коммунистическая партия», «генеральный секретарь», «партбилет», «партсобрание»? Задавали ли Вы старшим какие-либо вопросы о партии? Если да, что же они отвечали?*

• *Случалось ли вам, ребенку, задавать какие-либо неосторожные вопросы о политике? Если да, то о чем? Что отвечали старшие? Как они дали вам понять, что такие вопросы задавать нельзя?*

• *Какие вопросы о политике, о «стране, в которой мы живем», вам, ребенку, приходили в голову, но вы уже понимали, что задавать их не следует? А если вопросы оставались не заданными, то к каким решениям вы приходили самостоятельно?*

• *Сколько лет вам было, когда вы впервые услышали антисоветские анекдоты, частушки, байки? Насколько часто вы с ними встречались? Повторяли их или нет?*

• *Как ваша семья оберегала вас, ребенка, от опасностей, связанных с политикой?*

• *Ваши родители слушали зарубежное вещание? Если да, то что именно? Вы, ребенком, знали об этом? Вы сами слушали «голоса»?*

• *Как вы, ребенком и подростком, воспринимали пропагандистскую фикцию: «советская власть нам (вам, тебе) все дала»? Вы чувствовали вину перед школой, партией, государством и советской властью? Вы чувствовали страх?*

• *Коммунистическое воспитание считалось коллективистским. Что вы об этом помните? Что значил для вас коллективизм?*

• *Насколько старшие в вашей семье были откровенны с вами в том, что касается политики, истории, прошлого семьи? Рассказывали ли старшие в вашей семье о военном опыте?*

• *Гордились ли вы в детстве Советским Союзом? Если да, то чем именно?*

• *Как вы отнеслись к вступлению в октябрята и пионеры? Как отнеслись ваши родители?*

• *Что изменилось ко времени вступления в комсомол?*

• *Помните ли вы, что такое «ленинский зачет»? Как вы его «сдавали»?*

• *В советское время слово «политика» обозначало в повседневном употреблении – «международное положение». Беспокоило ли вас, ребенка, международное положение?*

• *Какие воспоминания остались у вас о вторжении в Чехословакию? В Афганистан?*

• *Когда вы начали читать сам- и тамиздат? Какие именно произведения?*

• *Как относилась ваша семья к становлению ваших убеждений?*

• *Когда вы узнали о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске?*

• *Как вы относились к школе и учителям – с любовью, с ненавистью, с равнодушием, с жалостью?*

Проблемы личной, семейной, коллективной, социальной памяти в советское время фактически «не существовали». Их обсуждение началось только в постсоветское время, но активное – лишь в новом веке, с опорой на труды Мориса Хальбвакса (Альбваша), Эрика Хобсбаума, Мишеля Фуко, Питера Бергера, Томаса Лукмана, Алейды Ассман, Яна Ассмана. Вопросы методики, инструментария, возможностей, «искушений» и ошибок в изучении памяти-воспоминаний – все эти вопросы сегодня стоят на повестке дня. В нашем, российском случае они осложняются особенностями пережитого нами периода и травматичностью личного опыта каждого советского-постсоветского человека. «Нет гарантий, что люди честно вспоминают свои давние мысли и настроения, а не подменяют их более поздними», – предупреждает историк-архивист Ольга Эдельман (Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953—1982 гг.: Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. – М.: Материк, 2005, с. 106). Мне все же представляется, что это не совсем так. Гарантий нет при изолированном кратком ответе на изолированный вопрос. Но в подробной беседе, где пересекающиеся вопросы создают определенную «сеть», такие гарантии появляются, обусловленные единством личности отвечающего.

Я присоединяюсь ко взвешенно-оптимистическим выводам историка-социолога Натальи Козловой: «Обращение к собственной биографии доступно каждому. Как сказал где-то Пьер Бурдье, надо пользоваться преимуществами своего *габитуса*» (Наталья Козлова. Советские люди. Сцены из истории. – М.: Издательство «Европа», 2005, с. 17).

§8. Первые политические впечатления

«Портреты и плакаты я воспринимал как вечную часть среды, вроде телеграфных столбов» (А. М. Интервью 1. Личный архив автора).

«Парадоксально, но смерть Сталина. Трагикомедия, как и всё в моей жизни. У нас в детском саду стояла уродливая „модель“ крейсера Аврора. Какой-то „мастер“ сделал к ней трубы из жести, причем оставил наверху острый край. Меня черт понес посмотреть, что же там внутри. Я взялся за край и подтянулся заглянуть, при этом ободрал ладони рук до крови. Меня повели в медпункт, где сразу же залили все йодом. В медпункте звучала печальная музыка, сестры и врач плакали, и я, естественно, подумал, что из сочувствия мне и солидарности. Только значительно позже я понял, что ошибался» (П. Г. Интервью 2. Личный архив автора).

«Демонстрации 7 ноября. Очень красиво, хоть и холодно. Вообще, опережая многие следующие вопросы, отвечу, что, засыпая, я был счастлив, что родился в Советской стране, а не где-нибудь в Америке, а то сейчас бы под забором валялся» (А. Г. Интервью 3. Личный архив автора).

«Мое раннее детство прошло в лагере (до трех лет) и в детском доме (от двух до пяти). Из этих пяти лет не запомнила ни-че-го. Получается, что жизнь моя, в том числе „политическая“, началась с возвращения мамы из заключения. Возвращение это как раз очень хорошо помню всю жизнь. Ничего политического в этом воспоминании нет. Просто – жизнь началась. И это было потрясающее чувство» (А. Б. Интервью 4. Личный архив автора).

«У меня нет детсадовских воспоминаний, меня воспитывала бабушка. А портреты… Никаких эмоций. Я помню фамилии не только главных бонз, но и мелкой шелупони, типа номинальных руководителей РСФСР Яснова и Нешкова. Но все это было так далеко от реальной жизни, как жизнь на Марсе» (А. Р. Интервью 5. Личный архив автора).

«Очень смутное тревожное чувство Постороннего, Чужого… мне годика три-четыре, но пяти еще нет. Это нечто круглое на стене нашей комнаты, слева от окна (речь о радио первых моделей), это круглое постоянно говорит, но я не понимаю, потому что некоторое время не могу кодировать радиозвучание (очень туманное чувство), все слова по отдельности понятны, но как разделить этот поток речи, непонятно. Если мама говорит «Толя, вымой руки, мы будем обедать» – это понятно, а тот речевой водопад из черной дыры на стене я долго не умел понимать. И вот кульминация – когда дома остался один, беру вилку, встаю на табуретку и начинаю тыкать эту мягкую гофрированную круглоту вилкой, чтобы повлиять на поток слов, это была попытка диалога и одновременно протест против слов. Так я наделал кучу дырок, но испортить речь чужака не смог. Уколы мои были детские, рука слабая, потому мои покушения никто из родителей не заметил…

Запомнилась смерть Сталина. Весь детский сад (в Молотове) был торжественно построен на втором этаже в актовом зале, где обычно ставили новогоднюю елку. Так началась траурная линейка. Смысл происходящего нам был все-таки непонятен. Мои детские мысли крутились о том, кто будет новым вождем. Я – парадокс – в детском саду знал в лицо и по фамилиям всю верхушку: Вячеслав Михайлович Молотов, Лаврентий Павлович Берия, Никита Сергеевич Хрущев… но мои симпатии явно склонялись в пользу Булганина. Мне так нравилась его аккуратная мягкая бородка. Пусть будет Николай Александрович Булганин, думал я, стоя в траурном ряду и пытаясь нахохлиться скорбью… Тут самый главный секрет этого дня: дело в том, что утром, когда мы пили чай, я заметил, что если мама в слезах, то отец ни капельки не огорчен. О, я хорошо знал его характер. Что ж, раз отец невозмутим, я тоже буду вести себя так же. Между тем, еще один парадокс, я втайне считал, что мой отец и Сталин похожи, и про себя этим фактом был приятно взволнован. Разумеется,

между ними не было никакого сходства, привожу этот факт как пример тогдашней паранойи» (А. К. Интервью 6. Личный архив автора).

«Самые детские – назначение на ответственные посты: главного в октябрятской звездочке и председателя совета пионерской дружины» (Л. И. Интервью 7. Личный архив автора).

«5 марта 1953 года рыдаю, стоя в пижамке на постели под радиоприемником. Единственная в семье – родители утешали» (О. К. Интервью 8. Личный архив автора).

«Чомбе. Плохой человек, Очень плохой. Я помню это слово с дошкольного возраста. Кажется, дело было в Конго, то ли Леопольдвиль, то ли Браззавиль. Да, я это помню еще с тех времен, когда один из этих „виллей“ не переименовался в Киншасу» (М. С. Интервью 9. Личный архив автора).

«Ранние впечатления – это 1968 год: ввод войск в Чехословакию. Мне было 5 лет. Помню, как отец и бабушкин муж (отчим отца) ругали Советский Союз. Но это совсем ранние, а вот уже такие политические события, как 24 съезд КПСС, высылка Солженицына впервые заставили меня думать о политике, и о том, кто я. 1971—1974 годы, мне 8—11 лет. Да, и еще хоккейные матчи СССР – НХЛ, когда папа и бабушка болели за канадцев» (Л. С. Интервью 10. Личный архив автора).

«Идеологическая сфера «толкнула» впервые когда нас принимали в октябрята, я думаю. У нас учительница младших классов была старушка, мы были ее последним классом. Сталинистка, разумеется, советская до мозга костей, долго нас идеологически готовила стать помощниками Ленина и тому подобное. Я мало что тогда прочувствовала, но образ Ольги Терентьевны намертво связался с первым образом осознанно советского. Помню как вспышку самосознания свою недоверчивую реакцию на ее рассказ – по-моему, по поводу Ваньки Жукова, что до революции детей не называли Петя или Ваня, а только так: Петька, Ванька… Меня бабка с первого этажа нашего подъезда называла «Анькя», и мне было совершенно ясно, что революция тут ни при чем.

А слово «коммунист» часто звучало в нашей семье, когда родители ссорились, по совсем неожиданным поводам. Мама, чтобы призвать отца к нормам жизни, в том числе и сексуальной, которые она считала правильными, кричала или шипела: «Ты ж коммунист!». Когда мы с сестрой подросли и, как два Хама, обсуждали жизнь родителей, вместо того чтобы стыдливо прикрыть их наготу, она (старше на 6 лет) рассказала мне, что папа требовал разнообразия, а мама считала единственно возможной миссионерскую позу, что и обсуждала с ней (ища у взрослой дочери поддержки) и со своей старшей сестрой, которая изумлялась: какой развратник, мой Коля – ни-ни… А «коммунист» выскакивал, как черт из табакерки, по поводу и без повода, потому что папу в партию приняли, а маму нет» (А. К. Интервью 11. Личный архив автора).

Сама я помню трагифарсовый «политический» случай. Лет пяти я испугалась, услышав, что мама с папой подали документы на поездку в Париж. Я знала, что такое Париж. Страшное место! Там голод и холод. Там умирают люди. Там в ледяной каморке замерзла женщина. К ней, мертвой, жался ее малюсенький ребеночек. На них кинулись крысы и … съели. Откуда мне был известен этот познавательный сюжет, не помню. Наверное, из радиопередачи: радио всегда было включено. «Не надо в Париж! – заплакала я. – Там крысы едят людей!» Мама и папа ответили, со смущением и запинкой, что в Париже случается, конечно, такая беда, но советских туристов она не коснется. К огорчению родителей и к моей радости, их не пустили. Однако в голове у дурочки щелкнуло. И очень внятно.

Глава 1.Зловещая родня

Он войдет, и люди встанут, и ура и славу грянут, своего узнав отца.
Это он, народный гений, нас ведет, как вел нас Ленин…
Сергей Михалков

Любовь к великому Ленину зарождается в ребенке с самого раннего возраста
Степан Демьянчук

Любовь к *вождям* была идейной, моральной и патриотической обязанностью советского ребенка. Как в реальности дети относились к этим *сакральным* образам и персонам, думали о них или нет, а если думали, то что именно, – все это оставалось тайной.

§1. Так называемая любовь

Повесть Эсфири Эмден «Школьный год Марины Петровой» в советское время выходила семью изданиями. Первое в 1952, седьмое в 1970 году.

Эмден – писательница опытная и талантливая, текст отнюдь не лишен достоинств. Назидательное сочинение строится по соцреалистическому канону «производственного романа» с поправками «для среднего школьного возраста». Двенадцатилетняя Марина учится в музыкальной школе при Московской консерватории. Действие начинается 1 сентября 1949 года. Все то, что относится к технологической составляющей музыкального «производства», изображено подробно и с увлечением. Маленький читатель много узнает о музыке и композиторах, о скрипке и фортепиано, о сольной и оркестровой игре. Александр Блок как-то обмолвился, что любит «питательные» произведения. Повесть несомненно «питательная», познавательная. В одном случае, пожалуй, и больше того. Автор изображает первую попытку одаренной девочки сочинить что-то свое. Образцом послужил, по-видимому, знаменитый эпизод с белым и розовым боярышником из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»: цветущая изгородь вдоль дороги вызывает у мальчика непонятное ему чувство и желание – «разгадать» боярышник, слиться с его ритмом. В повести такое же чувство вызывает у девочки снегопад, заснеженные крыши, приглушенные звуки города. Она берет скрипку, начинает играть любимый концерт, а потом с недоумением слышит, что играет что-то совсем другое: тихо идет снег, доносится далекий паровозный гудок, скрипят санки. Она записывает в нотной тетради то, что получилось, и опять испытывает непонятное чувство: ей очень хочется поделиться «песней», но в этой музыке что-то настолько личное, из самой глубины сердца, что она даже маме не решается показать.

И Марина дарит свою песню – угадайте кому. Совершенно верно – Сталину. Жизнь Марины, и всей школы, и всей страны устремлена к юбилею вождя. Марине доверяют ответственное *пионерское поручение* – поговорить о любимом вожде с *октябрятами*. Она очень волнуется, но разговор проходит замечательно: «Товарищу Сталину исполнится семьдесят лет. Товарищ Сталин сделал наш народ счастливым» (Э. Эмден. Школьный год Марины Петровой. – М.: Детгиз, 1952, с. 126). Горячая любовь пионерки к товарищу Сталину вдохновляет малышей дарить вождю «самое дорогое». Глава так и называется – «Самое дорогое». Марина ликует: «как хорошо, что ребята готовят Сталину подарки!» (с. 125). Во всех классах проходят *сборы пионерских отрядов*. Вожатые рассказывают ребятам, что товарищу Сталину семьдесят лет, что он сделал наш народ счастливым: «затаив дыхание, пионеры…» (с. 136). А впереди у детей огромная радость – сбор *пионерской дружины*, «самый лучший, самый торжественный и интересный. Потому что он будет посвящен товарищу Сталину» (с. 125). Торжественному сбору отведено три объемные главы. «Над большим портретом товарища Сталина, во всю длину эстрады, алое полотнище. На нем ясная белая надпись: спасибо великому Сталину за наше счастливое детство!» (с. 137). Говоря трезво, на *сборе дружины* героиня – а вместе с ней и читатель – в третий раз слышит то, что октябрята слышали от нее, а пионеры – от вожатой. Автор долго изображает восторг собравшихся – детей и взрослых. Наконец, зал в едином порыве встает и поет «Песню о Сталине».

По соцреалистическим правилам производственный роман должен завершиться высшей наградой труженику – встречей с вождем. Так и происходит: Марина, упорно работавшая и с честью преодолевшая трудности, видит вождя на трибуне мавзолея во время первомайской демонстрации. Счастливая пионерка пишет в дневнике: «Впереди несли большой портрет товарища Сталина. Мы шли не очень близко к трибуне. И все-таки я видела товарища Сталина! Он махал рукой – нам всем!» (с. 202).

Повесть не забыта. И в наши дни ее читают, скачивая в интернете, – чаще всего почему-то в варианте первого издания. На форумах читатели удивляются: «Неужто это написано искренне? Тема „Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство“. Может, я и встречала что-то более идеологизированное, но забыла. Советской детской литературы было прочитано много, но так меня никогда не корежило. От некоторых пассажей хотелось бегать по потолку. Поставила бы два, если б не музыка. Очень интересно было читать про этюды, концерты, гаммы и т. п., даже маловато показалось» (https://goo.gl/lrBE1C).

Уже во втором издании любимый вождь бесследно исчез вместе с юбилеем, подарками, сбором дружины, алым полотнищем, всеобщей истерикой и первомайской демонстрацией. Свое первое музыкальное сочинение Марина дарит теперь *подшефным* первоклассникам. 20 декабря она пишет в дневнике не о завтрашнем великом событии, не о готовности отдать жизнь за дело Ленина-Сталина, а о друге Коле. Почему действие отнесено к 1949 году, стало непонятно.

А ведь юбилей, и сбор дружины, и алое полотнище, и психоз идолопоклонства – все это было. Все это на детей обрушивалось в реальности. Как дети пытались понять происходящее, о чем в действительности думали – если бы в повести об этом говорилось, она была бы не детгизовским изделием, а настоящей литературой.

Те самые октябрята, которых Марина вдохновила дарить Сталину подарки, ко второму изданию как раз доросли, чтобы повесть прочесть. Наверное, прочли. Тиражи массовые. Вряд ли дети забыли, что пошли в школу как раз в 1949 году. Вряд ли забыли, что в тот год был юбилей «родного вождя» и они дарили ему «самое дорогое». Задумались дети или не задумались: почему в повести об этом не сказано ни слова?

Пропагандистской обработке дети позднесталинского времени подвергались с самых нежных лет. Внеидеологических детских книг практически не было. Только народные сказки, наверное.

Для самых маленьких предназначалась книга-календарь «Круглый год», выходившая стотысячным тиражом с 1946 по 1958 год. Не времена года, не зайчики-белочки, не игры, не сказки, не песенки и рисунки, не Пушкин и Моцарт – нет, календарь для малышей организован совсем другими темами: Сталин, Ленин, партия, революция, армия.

Эсфирь Эмден была редактором-составителем календаря на 1947 год (Круглый год. Книга-календарь для детей на 1947 год. – М.-Л.: Государственное Издательство детской литературы, 1946). Малыши могли узнать оттуда, что до революции «народ трудился, но все, что он добывал, отнимали для себя жадные богачи-бездельники» (с. 4), могли увидеть иллюстрации – «Вожди Октября» с картины Б. Иогансона, «В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции газеты „Правда“» с рисунка П. Васильева, портрет Сталина работы Д. Налбандяна, портрет Ленина работы А. Михайловского. Дети могли узнать стихи Джамбула о Сталине, «в ком солнечный ленинский гений живет» (с. 8). Малышам, еще не умеющим читать, все это должны были прочесть мамы. Читали или нет? Обсуждали с детьми прочитанное или нет? Неизвестно.

Книгу-календарь на 1949 год составила Галина Карпенко (Круглый год. Книга-календарь для детей на 1947 год. – М.-Л.: Государственное Издательство детской литературы, 1948). Сталин, Ленин, сталинский юбилей – такой «круглый год» предложен самым маленьким. Невозможно поверить, что малышам это было интересно и понятно. Обожествление вождей, истерическое поклонение – трудно понять, на какой результат была рассчитана такая пропагандистская обработка дошкольников. Одно неизбежное следствие старшему поколению известно по себе: маленьким детям непременно приходил в голову вопрос о физиологии вождей.

«Как-то после долгих раздумий о наших вождях Ленине и Сталине – то ли они люди, то ли еще кто-то – я спросила у бабушки: „Бабушка, а что, Ленин и Сталин – не как все

люди? Что, они даже не пукают?“. Теперь я понимаю, как она тогда испугалась. Она била меня и кричала, чтоб я больше такого никогда и нигде не говорила. И тогда я подумала: да, действительно, они не люди. Но кто они?» (Инесса Ким. Кривые небеса, – М.: DuchDesign, 2004. с. 75).

«Я рассуждал на эту тему и решил, что нет же, Ленин не какал! А вот Сталин писает… Это именно 3—4 лет… Такие гвозди в голову. Помню актовый зал в детсаду, там на стене висел портрет Сталина, а Ленин у нас был в виде ребенка Володи Ульянова, помните такого ангелочка с пышной головкой. И локоток на колонне. Наличие Ленина в двух ипостасях меня ставило в тупик, ответа я не находил» (А. К. Интервью 6. Личный архив автора).

Детский ум был опасен для семьи. Маленькие мыслители своей искренностью и простодушием могли подставить родителей под удар: малыши способны додуматься до крамолы и высказать ее вслух. Вопрос «вожди – люди или не люди?» такой же крамольный, как «пукают они или не пукают?». Оба вопроса – умные, логичные. В них проявляется точная реакция разума на безумие пропаганды. Родители должны были пресечь размышления детей и внушить им, что о подобном нельзя думать, а тем более говорить.

Официальный пропагандистский напор и вынужденные им встречные действия родителей приводили к тому, что все образы, внушаемые пропагандой, становились «сакральными» в настоящем архаическом смысле слова. Самые *священные* фигуры и понятия оборачивались и самыми *опасными, таинственными, зловещими*. Многозначное латинское прилагательное «*sacer, sacra, sacrum*» означает не только «*священный, вызывающий благоговейное уважение*», но и «*обреченный подземным богам, проклятый, гнусный, отвратительный, таинственный*».

Каждому, кто был советским ребенком, известны семейные практики в этой области. Но такие практики абсолютно, категорически не обсуждались и фактически не упоминались. Никогда – ни в советское время, ни в послесоветское. В легенду вошло рискованное заявление Зинаиды Пастернак, что ее сыновья больше всего любят товарища Сталина, а уже потом маму с папой. Но Зинаида Николаевна не объяснила, как она этого добилась. Если, конечно, это правда, а не эпатаж. Заявление в любом случае эпатирующее: о таком положено было молчать. Все и молчали. Высказалась она одна, а почему и зачем – осталось неизвестным. От страха ли, от наивности, от раболепия? Или, наоборот, от смелого презрения к абсурду пропаганды и всеобщему молчаливому угодничеству? Никто же не возразил и не мог возразить, что наши, мол, дети больше всего любят маму с папой, а товарища Сталина уже потом.

Идеологические клещи хватали всех родителей: «сакральные» (= зловещие) персонажи становились членами семьи, и к ним приходилось подлаживаться, потому что выгнать опасных приживальщиков было невозможно. В любой момент малыш мог спросить что-нибудь наивно крамольное. Родителям грозил и самый страшный вопрос: а ты, мамочка, а ты, папочка, *вы-то* кого больше любите – *меня* или товарища Сталина с дедушкой Лениным? Семье нужно было принять меры, чтобы этот вопрос никогда не был задан.

Сегодня подобный вопрос детям уже приходит в голову, но они пока еще осмеливаются его задавать. «Не смейтесь, но я вчера вопрос этот услышал на улице. И, что гораздо интереснее, услышал ответ. Только это была не мама, а бабушка. Знаете, что она ответила ребенку? „Мы всех любим и всем желаем только добра…“ Ребенку было лет восемь, это девочка была. На детской площадке они сидели. Я буквально проходил мимо и до меня долетело вот это: „А кого больше – меня или президента?“ Мне показалось, там было что-то среднее между запальчивостью детской и любопытством» (А. В. Электронное письмо от 3.07.2016. Личный архив автора).

Позднесоветская «Программа воспитания в детском саду» требовала любви и уважения к Ленину от двухлетних детей. В такое безумие трудно поверить. Но это именно так. Для первой младшей группы (от 2 до 3 лет) раздел «Расширение ориентирования в окружа-

ющем и развитие речи» начинается с Ленина: «Воспитатель учит детей узнавать В.И.Ленина на портретах и иллюстрациях, вызывает чувства любви и уважения к нему» (Программа воспитания в детском саду. 8-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1978. с. 51. То же: 9-е изд., испр. – 1982, с. 51). И только после Ленина, вторым пунктом, от детей требуется знать мамино имя и свое собственное.

Достигать предельного и запредельного безумия – имманентный закон государственной идеологии.

Оттепельная «Программа воспитания в детском саду» (М.: Учпедгиз, 1962) еще не требовала обрабатывать Лениным первую младшую группу. *Вождь* появляется в разделе занятий со средней группой – с четырехлетними: «Воспитатель показывает детям портреты В. И. Ленина, рассказывает, что все дети и взрослые любят Ленина, что он любил детей и заботился о них» (с. 88). Тоже радости мало, но все-таки четыре года – не два.

Столетний юбилей Ленина принес усиление идеологического натиска. В 3-м издании «Программы воспитания в детском саду» (М.: Просвещение, 1969) *сакральный* образ появился на занятиях с двухлетними, хотя и не первым пунктом. В следующие годы такое положение сохранялось, но к 8-му изданию кто-то заметил крамольный недосмотр: как это вождь не впереди? Поскорей исправили. Ленин переместился на первое место: получилось так, что прежде всего дети должны знать имя вождя, а мамино – уже потом. А ведь двухлетние малыши зачастую не знают имен: «Маму зовут мамочка, меня зовут заинька». Из детского сада заиньки приносили дедушку Ленина, а мамочкам приходилось что-то делать с непрошеным дедушкой. Что именно?

Никогда, нигде, ни разу обсуждение этой проблемы мне не встречалось. Проблема относилась к необсуждаемым и неупоминаемым. Мое экспертное заключение состоит в том, что в 60—70-е годы массовым практическим решением был *избирательный запрет*: ребенку внушалось, что думать и говорить о «сакральных» образах по своей воле нельзя. Родители с разной степенью суровости пресекали любое несанкционированное упоминание о них. Это относилось не только к Ленину, хотя к нему прежде всего, но и к Брежневу, коммунизму, партии, партбилету. О них было можно и нужно (и строго обязательно) говорить в специально отведенное время в специально отведенном месте – например, когда воспитательница читает стишок про Ленина и велит повторить. Для школьников специальными хронотопами были *пионерская линейка*, *ленинский зачет*, *политинформация*. Причем говорить о *сакральном* следовало именно и только теми словами, которые прежде были произнесены воспитательницей или учительницей. Строжайше. Ни шагу в сторону. Этого требовали и родители, и педагоги. Кое-что мы и сами помним, а из методической брошюры Тамары Олифиренко можем узнать подробности – «Дошкольники знакомятся с В.И.Лениным» (Фрунзе: Мектеп, 1971).

Воспитательница показывала малышам репродукцию картины Василия Перова «Тройка» и объясняла, что *раньше* детям было очень плохо: в дырявой одежонке на лютом морозе они возили бочки с водой. «Воспитательница наводящими вопросами помогла ребятам сравнить жизнь детей раньше и теперь. Ребята сделали вывод, что теперь детям живется счастливо, что о них заботятся. И мысль свою выразили стихами: «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» (с. 23). Воспитательница объяснила: это Ленин сделал так, чтоб детям хорошо жилось. Малыши все поняли – и «выразили словами Сергея Михалкова: «Далась победа нелегко, но Ленин вел народ. И Ленин видел далеко, на много лет вперед» (с. 23, 24).

«Тройку» Перова помнят все советские дети. Уж не знаю, переворачивался ли художник в гробу. Девочка-сирота, избитая бабушкой за неосторожный вопрос о физиологии вождей, жила вместе с ней и младшей сестрой в землянке, впроголодь. Она не возила воду на саночках при лютых морозах в Кзыл-Орде, потому что саночек не было: руками ведро

таскала. Она тоже благодарила родную страну и любимого Сталина за счастливое детство. «Я все принимала на веру: если славят нашу страну, значит, так оно и есть, я была горда, что живу в самой лучшей стране мира… Я никогда не связывала свое положение с политикой государства и все свои беды видела в том, что у меня не было родителей. А почему они исчезли из моей жизни и из своей – узналось позднее» (Инесса Ким. Кривые небеса, – М.: DuchDesign, 2004. с. 122).

Мой собеседник А.К. вспоминает свои драматические отношения с картинами на стене: «Меня так достал взгляд Незнакомки Крамского (репродукция на стене в раме), что я встал с ногами на диван и лезвием безопасной бритвы (взял у отца в мыльнице) распорол ее физию крест-накрест, бритвой по глазам и лицу. За что мне крепко влетело, но картину пришлось снять. Но осталась другая жуть: картина „Тройка“ Василия Перова, где дети волокут бочку с водой мимо стен монастыря. То есть моя комната в детстве была стараниями родителей превращена в род страшилок. Вот, Толя, как жилось детям при царизме!» (А. К. Интервью 6. Личный архив автора).

В семейных практиках взаимодействия с «сакральными» образами встречались редчайшие и поразительные исключения.

Уже в наши дни Марина Голубицкая в автобиографическом романе «Вот и вся любовь» (М.: Анаграмма, 2010) рассказала, что ее воспитывали в искренней и «страстной» любви к Ленину. Это делалось умно и тонко: Ленин всегда был наградой и радостью, которую с дочкой разделял отец. «Из поздних передач разрешали смотреть КВН и кино про Ленина. Иногда вечером папа поднимал меня радостным криком: „Бегом беги – Ленина показывают!“. Я мчалась босиком и радовалась вместе с папой. Ленин азартно и весело спорил с эсэрами, обманывал врачей, запрещавших ему работать. Он все делал легко и с удовольствием, ему все удавалось. Ленин кипятил молоко для Свердлова, а потом угощал им котенка» (с. 184). Отец внушил дочери живое, яркое чувство к Ленину, как если бы *вождь* был любимым учителем или старшим другом – самым интересным, мудрым и добрым. Ленин снился школьнице, она думала о нем – а значит, додумывалась до крамолы. Влюбленная девочка-подросток среди первых поцелуев поделилась крамолой с любимым мальчиком: «Почему великий Ленин бездетен? Хочу знать, каким был Ленин как мужчина!» (с. 8).

Зачем такой жестокий эксперимент был проделан с чувствами ребенка, осталось неизвестным. Результаты были печальные. Из-за любви к Ленину выпускница потеряла золотую медаль: «У меня забрали сочинение, а я не успела его дописать. Я так любила Ленина, что не успела рассказать об этом за шесть экзаменационных часов. Собственно, никто не просил писать про любовь. Предлагалось раскрыть образ Ленина в произведениях Горького и Маяковского» (с. 184). Но гораздо хуже было другое: повзрослевшей жертве эксперимента пришлось долго избавляться от рецидивов любви к *вождю*: доверчиво-восторженных чувств ко всякому крупному начальству.

«Сакральные» образы пропаганды были опасны не только для родителей, но и для учителей и воспитателей, которым полагалось внушать к ним «любовь и уважение».

В 20-е годы к революционно-политической обработке самых маленьких пытались подойти творчески, в соответствии с психологическими особенностями малышей. Богатый материал в этой области обобщен и проанализирован Юлией Саловой в монографии «Политическое воспитание детей в Советской России в 1920-е годы (Ярославль: Ярославский гос. ун-т, 2001). Педагоги заменили сказки задушевными рассказами о Ленине, о недавних революционных событиях, о героях и вождях революции. Взрослые поощряли детей размышлять о Ленине, играть «в Ленина» и тщательно записывали то, что у детей получалось.

В 1924 году вышла брошюра «Дети дошкольники о Ленине» (М.: Госиздат), созданная группой энтузиастов на основании наблюдений за детьми 3—7 лет в сорока пяти московских детских садах и детских домах. Воспитатели фиксировали разговоры малышей и донесли

до читателей живые детские мысли о Ленине и вождях. «Пусть педагоги подхватят слова, сказанные семилеткой, – призывали энтузиасты, – и поставят своей задачей воспитать новое сильное поколение коммунистов-ленинцев» (с. 17). На сегодняшний взгляд, «подхватить» детские слова педагогу затруднительно: все это истерически смешно в духе черного юмора.

«Нет, он был совсем не больной, он послезавтра на лыжах катался, а завтра взял да и помер» (с. 14). «Давайте в Ленина играть! Я никогда еще не был Лениным!» (с. 19). «А они <почетный караул> его застрелят, он еще больше умрет» (с. 19). «Ты, Вася, – Калинин, а я – Троцкий, у меня повязка на рукаве. – А девчонки зачем? – Пускай. Это жена и сестра Ленина» (с. 24). «А Ленин-то не сгниет. Его так сделали. – А где он умер? – В Доме союзов. – Ты знаешь, у нас в клубе умер наш Ленин» (с. 24) «Когда Ленина не было, все голые ходили и не обедали» (с. 43). «Пианину он нам дал. – Пианину дали из Совету. – А в Совете-то кто? Самый главный он был» (с. 46). «Он был коммунист. – Он всех главнее. – Он председатель всех» (с. 47) «Без Ленина нельзя жить – земля и небо сгорят. Надо другого Ленина» (с. 47) «Он сильней всех жуликов. Если бы он ловил, всех бы жуликов переловил» (с. 48). «Жучка наша тоже жалеет Ленина. Она понимает, Ленин – отец наш» (с. 50). «Дедушка Ленин маленьких любил, а больших – не так» (с. 53) «А почему Ленин знал, как надо жить?» (с. 54) «Есть еще Троцкий, он тоже хороший, у нас дома на стенке прибит» (с. 55) «Макароны нам дает Ленин. – Ленин помер, макарон не будет» (с. 54) «Я хотел бы быть сыном Ленина. – Что надо делать, чтобы быть Лениным? Я хочу быть Лениным. – А я в Ленины запишусь» (с. 57) «Я, как большой буду, буду Ленин и Троцкий» (с. 58) «Лучше Ленина не хоронить, а положить в сундук – он выздоровеет» (с. 58) «Я комиссар. – И я. Мы не будем пропускать без пропусков» (с. 59). «Ему делают гроб 18 саженей, а когда потоп в Москве будет, он не утонет, а мы утонем» (с. 73) «Вместо Ленина будет Каменев. Троцкий тоже больной, он скоро умрет» (с. 77). «Откуда приедет другой Ленин?» (с. 78) «А другого Ленина выберут?» (с. 78)

В 30-е годы ничего подобного и вообразить невозможно. В 60—70-е годы – тоже. «*Жучка понимает, что Ленин – наш отец*» А чего ж вы хотели? Малыша, любящего свою собаку, «накачали» образом вождя – контаминация неизбежна, если не принять жестких мер пресечения. В позднейшие годы все это и было бы пресечено как чудовищная крамола. Сама попытка поразмышлять вызвала бы не поощрение, а ужас воспитателей.

Так испугалась наша учительница, недосмотревшая, что такое мы рисуем, получив задание изобразить праздник 7 ноября. Надо было, вероятно нарисовать флаги, воздушные шарики, красные банты, но почему-то все взялись за странный сюжет: портрет Ленина, окруженный венком и с подписью «Ленин», и под ним цепочкой октябрята. Разумеется, никакого злого умысла не было – было желание правоверно подладиться под «идейную» задачу. Учительница за столом проверяла тетрадки, мы рисовали, а потом понесли ей готовые шедевры. Увидев первую кривую рожу, несчастная женщина по-настоящему запаниковала. Может, эти рисунки она должна была куда-то сдавать? Помню, что она растерянно сказала: «Не всем настоящим художникам разрешается рисовать вождей». Помню, что хотела разорвать рисунок – и замерла. Мы, семи- или восьмилетние, своими переживаниями по этому поводу не делились. Лично я ощутила настоящее чувство «сакрального», то есть трепет пополам с омерзением и тягостной неловкостью: нечаянно влезла во что-то гнусное и опасное. Ошибка произошла потому, что ситуация соответствовала избирательному запрету: дети не по своей воле взялись за сакральный образ, а по заданию (*про революцию*) и в специально отведенном месте.

Это трагифарсовое приключение я изобразила в романе уже в наши дни («Нева», 2012, №6) и получила читательский отклик: «Oksana Lebedeva, 30.07.2012 г. Как ни странно, абсолютно аналогичная история вплоть до ответа учительницы произошла со мной, когда я училась в первом классе. Запомнилось на всю жизнь» (https://goo.gl/A6Gix4).

Ровно то же самое рассказывали респонденты Алексея Юрчака, вспоминая и характерную реплику учителей, и собственные неприятнейшие чувства. «Возможно, учителя боялись, что подобные рисунки, выполненные их учениками, могли быть поняты как проявление идеологической невнимательности, а может, и неблагонадежности, самих учителей. <… > некое особенное кощунство, нарушающее общий порядок вещей» (Алексей Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. – М.: НЛО, 2014, с. 186).

Реалии «сакральной» ленинианы порождали еще один *бродячий* школьный сюжет – *осквернение*. Он относился к неупоминаемым, хотя, полагаю, знаком каждому, кто учился в позднесоветское время. Его подробно описала Марина Столяр в мемуарной части исследования «Религия советской цивилизации» (Киев: Стилос, 2010). Одуряющая скука типичной школы вызывала к жизни дикую и негигиеничную забаву: подростки плевались через трубочку шариками жеваной промокательной бумаги. «Осквернение» обязательного в каждом классе портрета Ленина становилось неизбежным, хотя и не по злой воле. Мемуаристка вспоминает, что в ее классе был целый «иконостас» – Ленин, Маркс, Энгельс. На перемене дети плевались и попали в священное изображение. После звонка «раздался голос учительницы, который звучал на какой-то предельной ноте, соединяющей гнев и ужас: „Кто! Это! Сделал!“. Виновных никто не выдал – они сами признались. Интуитивно я почувствовала, что такого рода „преступления“ почему-то считаются хуже уголовных» (с. 29). В школу срочно были вызваны родители, и ученики увидели их лица, опрокинутые от страха.

В «моем» случае учительница истории рыдала, простирая руки к портрету Ленина над классной доской, директор с завучем испуганно-гневно перетаптывались, весь класс стоял навытяжку. Хотя в портрет даже не попали – роковой шарик прилип к доске. Но чем это могло кончиться – и чем кончалось в реальности – взрослые знали: делом о *государственном преступлении*.

Вот ошеломительные примеры, приведенные в книге «Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953—1982 гг.: Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР» (М.: Материк, 2005).

Рабочий лесхоза бросил обломки карандаша в портрет Ленина и спросил у него: «Чого дивишься на мене, що мені погано живеться?» (с. 169). Рабочий из Рязанской области бросил огурец в портрет «одного из руководителей» (с. 175). Пьяная нищенка приютилась на ночлег в бане, где «повредила стенды с фотокарточками Ленина и выбросила бюст Ленина из окна на улицу» (с. 181). То есть *в бане* был *ленинский уголок* – пример запредельного безумия. Водитель трамвая «обезобразил портрет Председателя Совета министров СССР, расчеркав его карандашом» (с. 180). Плотник в общежитии «совершал похабные действия перед портретом вождя»: «молча проявлял надругательства, то есть показывал свой половой член, а второй раз, испортив воздух и обращаясь к портрету, говорил, что крутит носом, не хочет нюхать» (с. 185).

Все это очень смешно, если не знать, что несчастные люди были осуждены за *государственное преступление*. А прокурорский надзор за делами о государственных преступлениях пришел к выводу, что все виновники получили десять лет лагерей и пять лет поражения в правах совершенно законно: «приговор считать правильным». Только плотник, испортивший портрету воздух, чудом добился пересмотра: вместо десяти лет лагерей ему милостиво дали… пять.

Вот она, реальная подоплека «любви» к вождям, партии, коммунизму, которую дети должны были испытывать.

Собственно, мы сами уже в наши дни убедились, что неосторожное обращение с «сакральным» изображением может привести к аресту и реальному сроку: «30.05.2012 г. В Чувашии активисту „Другой России“, чихнувшему на портрет Путина, дали 15 суток» (https://goo.gl/vYT8jQ).

Педагог-методист Вячеслав Макаев разработал и пропагандировал программу изучения трудов и жизни Ленина на уроках абсолютно по всем предметам. «Чтобы жить по Ленину, надо знать Ленина, надо учиться у него смолоду. Этому в первую очередь призвана научить наша советская школа» (В. В. Макаев. Изучение ленинского наследия к школе. – Ставропольское книжное Издательство, 1972, с. 5). Физика с химией, география с ботаникой могли и потесниться: Ленин важнее. «Изучение произведений Ленина в курсе физики. «Социализм и религия» – в 9 классе (за счет часов, отведенных на проработку темы «Внутренняя теплота. Теплота и энергия»). «Об отношении рабочей партии к религии» – в 10 классе (за счет часов, предусмотренных на тему «Электромагнитные колебания и волны»)» (Учителю о воспитательной работе. – Пятигорск: ПГПИЯ, 1967, с. 27). С начала шестидесятых до середины восьмидесятых годов статьи, брошюры и книги Макаева выходили практически ежегодно. По географии Макаев велел изучать подписанное Лениным постановление об аресте директора санатория, при попустительстве которого в парке срубили ель (Изучение ленинского наследия…, с. 57). Автор не уточнил, *за счет* каких уроков это следует делать. Постановление излагается очень подробно. Выпущены только две принципиальные детали: что этот «санаторий» – усадьба «Горки», персональная резиденция Ленина, и что постановление грозит карами всем работникам при повторении преступления. Ну, все понятно: двадцатый год, ни дров, ни хлеба, барин гоняет людишек за порубки. См. ПСС Ленина, т. 41, с. 151.

Среди бессчетных и абсолютно одинаковых книг о коммунистическом воспитании выделяются труды Степана Демьянчука: «Вопросы идейно-политического воспитания старших школьников во внеклассной работе» (М.: Педагогический институт им. Крупской, 1971) и «Идейно-политическое воспитание старшеклассников» (Львов: Вища школа, 1977). Погуглим и выясним, что Демьянчук дослужился впоследствии аж до академика. Его имя, представьте себе, носит Международный экономико-гуманитарный университет в Ровно.

По содержанию обе книги – типичное запредельное безумие агитпропа. Автор уверяет, что «любовь к великому Ленину зарождается в ребенке с самого раннего возраста» («Идейно-политическое воспитание старшеклассников», с. 74) и предлагает планы воспитательной работы – особые занятия для подготовки к *Ленинским чтениям* и *Ленинскому зачету*. Ну, например, в такой-то день занятие «Преданность идеалам коммунизма» – прослушивание грамзаписей с речами Ленина, в такой-то день лекция – «Заветам Ленина верны». И так неделя за неделей, четверть за четвертью, весь школьный год – дополнительной нагрузкой на детей *после* уроков. «Основное внимание следует обращать на глубокое усвоение старшеклассниками материалов партийных съездов…» (с. 112). Книги выделяются тем, что автор беспощадно проводил свои планы в жизнь и ежегодно опрашивал и анкетировал школьников, которые становились жертвами его пропагандистского напора. Цифры названы огромные, счет идет на тысячи: «В 1960—1976 гг. мы опросили 1837 девятиклассников и 1879 десятиклассников, а также провели анкетирование среди 670 девятиклассников и 1335 десятиклассников…» (с. 87). С чувством глубокого удовлетворения автор сообщает, что «ни один старшеклассник из всех опрошенных не указал на отсутствие интереса к обсуждаемым вопросам» (с. 112). *Ни один*. Из нескольких тысяч. Если бы подросткам на добровольной основе предложили после уроков лекцию о «ливерпульской четверке» с прослушиванием новейших записей или беседу о парижской моде с просмотром образцов, это было бы им интересно. Но не поголовно всем. Нашлись бы и такие, кто ушел бы домой, указав «на отсутствие интереса к обсуждаемым предметам».

Возникает вопрос, что думал сам Демьянчук о своей деятельности и ее результатах. Имеем ли мы дело с глупой наивностью пропагандиста? Или с расчетливым карьеризмом? Это осталось загадкой, хотя лично я склоняюсь ко второй версии.

Автор привел в своей книге примеры ответов на вопросы анкеты. В них четко опознается основной принцип *техники безопасности* при обращении к «сакральному»: высказываться только в специальном месте, только в специальное время и только теми словами, которые прежде были произнесены учителем или пропагандистом. «На Ленинских чтениях мы всем сердцем чувствуем мудрость великого Ленина, партии коммунистов» (с. 88). «Нет у меня лучшего учителя, чем Ленин. Он выводил меня на дорогу жизни, потому что я училась у него настойчивости, жажде знаний, любви к труду, к людям» (с. 88). «У Ленина я училась скромности, настойчивости, жажде знаний, любви к труду. Он ведет меня на широкую дорогу жизни, потому что я учусь у него работать на пользу общества» (с. 88). «Родному Ильичу низкий поклон. Обещаем жить, учиться и работать так, как завещал Ленин. Ленинские чтения помогают в этом деле» (с. 88). И еще-еще-еще в том же духе. Жутко подумать, сколько детского времени и детских сил было растрачено на это безумие – а значит, не осталось ни на что интересное и полезное.

Для текущих политических событий и современных фигур специальным хронотопом была *политинформация*. Еженедельно на *классном часе* – обязательно, но существовали и варианты. По собственному опыту мне известны еще два: десятиминутка перед началом первого урока по понедельникам и сообщение политической новости в завершение ответа у доски на уроке географии. Из десятков, если не *сотен* политинформаций (которые, разумеется, никто не слушал) мне запомнилась одна: стоя столбом возле учительского стола и подглядывая в газету, я осуждала академика Сахарова, который окончательно разоблачил себя как пособник вашингтонских ястребов. Было ли мне стыдно *уже тогда*? Конечно. Этот позор потому и запомнился, что было стыдно. Но вместе с тем я чувствовала и ту особую советскую безответственность, которая воспитывалась советскими ритуалами. Мне велели – я отбубнила. *Все равно никто не слушает. Все всё понимают. От меня ничего не зависит. Такова жизнь*.

Это *безответственность заложника*. Если идейно-политическая обработка детей была направлена на внушение чувств заложничества – безответственности, беспомощности и бесправия, то нельзя отрицать ее значительного эффекта. *От нас ничего не зависит*, *сиди тихо, а то хуже будет* – это внушение усваивалось.

Если же учителя и впрямь прививали чувства «любви и уважения» к Ленину, к Брежневу, к партии, коммунизму, то эффект был отрицательным.

Чего в действительности хотел добиться агитпроп – неизвестно. Моя гипотеза: пропагандисты – и командиры, и рядовые – не знали этого сами. Логично было бы высказать предположение, основанное на том, что получалось в реальности: целью идеологической обработки была запуганная покорность людей, сознающих, что от них ничего не зависит. *Бояться, не высовываться. Молчать. По команде одобрять. Никаких убеждений не иметь, кроме одного: «Лишь бы войны не было!»*.

Однако логика в данном случае вступает в противоречие с массивом словесной практики. Объявленные цели идейно-политического воспитания были строго обратными. *Активная жизненная позиция. Коммунистическая убежденность. Высокая сознательность*. И прочее в том же духе. Старшее поколение помнит: в ушах и зубах навязло. То есть слова, которые лились на детей, сначала должны были утратить всякий смысл, а потом приобрести антонимическое значение. «*Коммунистическая убежденность*» = «*Молчи, по команде одобряй*». «*Активная жизненная позиция*» = «*Не высовывайся, хуже будет*».

Есть красивая и эффектная гипотеза, что целью агитпропа было внушение неосознаваемого, привычного, въевшегося двоемыслия. *Двоемыслие*, «*социальная шизофрения*» – в иных терминах *двуязычие, диглоссия*. «Диглоссию жители СССР начинали осваивать с самого раннего детства, – пишет антрополог Дарья Димке. – Пионерская организация и школа успешно справлялись с задачей социализировать ребенка в советском обществе.

Пионерская организация не только осуществляла массовую индоктринацию, но и приучала к советским ритуалам, в результате чего переключение с приватного языка на публичный переставало осознаваться ребенком как таковое» (Дарья Димке. Крестовый поход детей. – В кн.: Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы. – М.: НЛО, 2015. с. 362). Столь полный успех пионерской организации вызывает у меня сомнение. В реальной детской жизни пионерия и пионерство не значили ничего, кроме пустой траты времени. (См. главу 3).

Говорение в специальных пионерских хронотопах – в условиях ритуала – осознавалось многими, если не большинством, как трескотня, тоска и скука, от чего многие же уклонялись, понимая – смутно или ясно, – почему, зачем и от чего именно. С самых неразумных лет дети давали грозные обещания: «Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь… жить, учиться и работать, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия…», «Будь готов! – Всегда готов!» Обязательств от таких обещаний дети чувствовали не больше, чем от пения и речевок на конкурсе строя и песни: «Партия наш рулевой», «Знамени партии свято верны». Значит, произносимые слова лишились для них смысла. От лживого пустоговорения, от лживых пафосных жестов дети и стремились уклониться, испытывая от них неприятные чувства – стыд, неловкость, скуку, досаду. Горящие глаза, алые пилотки, вскинутые руки, барабаны и горны существовали только на пропагандистских плакатах и фотографиях.

§2. Сторона оборотная, она же главная для понимания реальности

За пределами специальных хронотопов *пионерских слов* не было. Были другие – океан антисоветских анекдотов, частушек, слухов, баек.

Однажды после окончания очередного классного часа «про Ленина» моя подружка – председатель совета пионерского отряда, круглая отличница и будущая золотая медалистка – сообщила мне таинственным шепотом, что у Ленина был сифилис. Откуда она это знает, я не спрашивала, потому что ясно было и так: подслушала взрослых. Я заинтересовалась, где он его подцепил. В Шушенском, тихо и авторитетно сказала подружка: бытовой сифилис! Нам было лет 13. Свидетельствую.

Моя вторая «встреча с Лениным» тоже произошла подпольно. В десятом классе посреди года в класс пришла новенькая, «двоечница» Галя, и оказалась рядом со мной: я сидела за партой одна. Галя была яркая умная девочка с каким-то переломом в судьбе, о котором она не говорила. Постарше других – не по возрасту, а по опыту. В таком духе, будто от пьющих родителей перешла к благополучным родственникам. Первое, что она хотела наверстать, – музыка. Сама нашла себе учительницу, подружилась с ней, и однажды с «горящими» глазами позвала меня к старушке в гости: «Представляешь, она Ленина видела!». И мы отправились за полузапретным или вовсе запретным свидетельством. Видеть Ленина разрешалось только уполномоченным товарищам. Старушка жила в коммуналке, в тесную комнатку было втиснуто пианино. Она рассказала, что Ленина видела в Петрограде весной семнадцатого года. На митинге. Стояла близко, разглядела хорошо. Ленин был плотненький и низенький, глазки щелочками, все лицо в красно-синих прожилках. Что за митинг? Где проходил и когда именно? Сколько лет было свидетельнице? Какого она происхождения? На все ли митинги бегала или случайно попала на этот? Кого еще слышала из ораторов? Кого видела из лидеров? Ни о чем я не спросила. Не умела. И боялась. Воспитание вколачивало: спрашивать ни о чем нельзя, хуже будет.

Родители советских детей испытывали опасное давление с обеих сторон: от официального агитпропа и от неофициальной антисоветской стихии.

Взаимодействие семьи с неподконтрольной антисоветской сферой – проблема такая же необсуждаемая и неупоминаемая, как взаимодействие с официальным безумием.

В условиях деревенского и пролетарского детства дети слышали антисоветчину с самых ранних лет. «Сколько себя помню, столько и слышала», – свидетельствует моя собеседница А.Б., детство которой прошло в уральских колхозах в пятидесятые годы: «Мама моя была художница, а после возвращения из лагеря она не имела права прописаться в родном городе и работала художницей в сельских клубах, тоже не очень-то легально, потому что политзаключенные после освобождения не имели права работать в „наглядной агитации“. Но клуб без художника не клуб, так что как-то этот запрет сельское начальство втихомолку обходило – зачисляла неблагонадежного „агитатора“ в полеводство или на ферму. Таким образом, мама преспокойно многие годы писала лозунги „Слава КПСС!“ и „Вперед к коммунизму!“. Мы и жили в клубах, так что я эти лозунги читала – именно так я и читать научилась еще до школы» (А. Б. Интервью 4. Личный архив автора).

В семьях совслужащих (интеллигенции) детей ограждали тщательнее, но антисоветская стихия была всепроникающей. Ко времени вступления в пионеры большинство детей успевало познакомиться с немалым количеством антисоветских анекдотов и частушек. Дети не различали их качества. Среди них были грубые и глупые, но были ослепительно умные, разящие и неотразимые – политологический анализ, диагноз и прогноз в нескольких словах.

Обсудить услышанное с родителями было невозможно: такой практики не существовало в принципе. Это нарушало бы *технику безопасности* взаимодействия с режимом.

Возможных вариантов детского и родительского поведения было несколько.

Первый и, вероятно, самый типичный: дети, усвоив *избирательный запрет*, понимали, что анекдот или частушка нарушают его, и услышанное *скрывали* от родителей. Антисоветчина оставалась в утаенной детской культуре вместе с другими *секретами*. Это был самый удобный для семьи вариант детского поведения. Дети делали вид, что ничего не знают, родители делали вид, что дети ничего не знают. Социальные угрозы такого поведения были невысокими. Оно означало, что дети усвоили *технику безопасности* и поняли, где и что говорить можно, а где и что говорить нельзя. Всегда, впрочем, оставался риск доноса – сознательного или бессознательного. Идейный пионер мог выложить учительнице, что именно рассказывали приятели о дорогом товарище Леониде Ильиче. Простодушный ребенок мог признаться по наивности. Но это было редкостью: «моральный кодекс» советских школьников твердо осуждал того, кто *выдаст* учителям секретные дела. *Выдать* – это был позор. Мне помнится именно слово *выдать*, а *стучать, настучать*, *стукач* – таких слов не помню.

Второй вариант требовал родительского вмешательства: дети все же приносили домой услышанное на улице. Родители всегда пресекали детскую доверительность, но характер пресечения мог быть разным: от панически угрожающего до шутливо остерегающего, от жестко обрывающего до откровенно объясняющего.

Третий вариант был редким, но все же существовал: взрослые сами рассказывали анекдот, но предупреждали, что повторять его нельзя. По моему опыту и полученным свидетельствам, героем такого анекдота почти всегда был свергнутый Хрущев.

«Про Хрущева анекдоты повторял, и родители не возражали. Если качали головой, то явно ритуала ради. Анекдоты про Хрущева были будничным хлебом и не волновали, он не был святыней. А вот анекдоты про Ленина услышал в университете в 64 году, и помню ощущение щекочущего восторга. Вероятно, в Средние века с этой щекоткой творили кощунственные мессы: поклоняться всегда надоедает. Так же хотели сбросить Пушкина, Рафаэля… Он просто проявлял человеческие качества – делал зарядку: маленький, толстенький, приседает. Через дверь кокетничает с женой: это я, Вовка-могковка. „Кто это навонял? Это, навегно, ходоки!“ Потом пошли позлее – в 70-м. Трехспальная кровать „Ленин с нами“, мыло „По ленинским местам“… Но это уже не щекотало, он не был святыней» (А. М. Интервью 1. Личный архив автора).

«Встречался с „крамолой“ часто и везде. Особенно в низовых слоях жизни. Народ язык не сдерживал, вроде колгосп „Шлях до криминалу“ (колхоз „Путь в тюрьму“) и прочее. А в селах и подавно, они были пуганые, тяжелой работы они не страшились, и ничего, кроме жизни, отнять у них нельзя было. В семье не повторял, хотя шутки на грани фола были всегда. Частушки – да. Многие даже помню до сих пор. По поводу работы Сталина „Десять законов социализма“ (или как-то еще): „Эх калина, малина, Три закона Сталина. Остальные Рыкова да Петра Великого!“ И еще помню. „Эх, огурчики да помидорчики. Сталин Кирова убил да в коридорчике“ Пародийных песен и стихов было море» (П. Г. Интервью 2. Личный архив автора).

«Пока я учился в младших классах, особых вопросов не было. А позже родители намекнули мне, что анекдоты про „Съест КПСС! Съест КПСС!“ и про „дорогого Леонида Ильича“ не следует рассказывать где попало. Анекдоты о вождях или об отсутствии в магазинах колбасы мне не казались антисоветскими. Антисоветчики – это те, в высоких шляпах и касках с карикатур в „Крокодиле“, в темных очках, со знаком доллара на пиджаках… А мы-то нормальные, мы за советскую власть… И то, что эта советская власть в анекдотах выглядела смешной и даже глуповатой, мне не казалось чем-то предосудительным. Я же

не военные секреты шпионам выдаю, а просто имитирую шамкающую речь развалины-генсека…» (Р. А. Интервью 5. Личный архив автора).

«Это были совершенно беззубые анекдоты про „дорогого Леонида Ильича“. Настоящую народную антисоветчину *(„всё по плану, всё по плану / с… велят по килограмму / ну а хлеба – триста грамм / как н… им килограмм?“*) я услышал гораздо позднее» (М. С. Интервью 9. Личный архив автора).

«В 6—7 классе анекдоты про Чапаева и про Брежнева, они воспринимались абсолютно спокойно как само собой разумеющиеся» (Л. И. Интервью 7. Личный архив автора).

«Папа резко отчитал меня за анекдот о партии. Между 53-м и 56-м годом мама друзьям рассказывала анекдот: „Что сейчас делает артист Геловани, который играл Сталина? – Рвет волосы на голове, хочет быть похожим на Хрущева“. Ахаю от возмущения» (О. К. Интервью 8. Личный архив автора).

«Анекдот услышал лет в семь от одноклассницы Наташи Соловьевой: «Ленин со Сталиным вышли из мавзолея и идут по Красной площади. Их все спрашивают: «Вы почему в мавзолее не лежите?», а Сталин говорит: «Там Хрущев напукал». Рассказываю до сих пор, с большим успехом. Правда, мама, когда услышала, сказала: «Вот Наташа какая – тихоней прикидывалась. Ты в школе это не рассказывай» – хотя сама смеялась. Частушки какие-то были, рассказывали друг другу во дворе, но считали это просто забавой. Правда, однажды отец одернул меня, когда я хотел рассказать ему анекдот про Чапаева и Петьку: «Они за тебя кровь проливали, а ты про них анекдоты рассказываешь». Но было это один раз, что-то на отца нашло…» (А. Г. Интервью 3. Личный архив автора).

Мне, совсем маленькой, бабушка Маруся (Мария Михайловна Текучева) с гневом рассказывала, как Хрущев набросился на художников-абстракционистов, хотя ничего не понимал в живописи. Потом подкрепила сказанное анекдотом: «Хрущев ходит по выставке, ругает картины: это безобразие… это безобразие… а это что за свинья? – Никита Сергеевич, это зеркало…». Я слушала с огромным интересом и благодарностью, никогда никому бабушку не «выдала», даже маме с папой, запомнила слово «абстракционизм» и усвоила, что абстрактная живопись – это очень хорошо. Почему бабушка одобряла беспредметное искусство и где могла его видеть – осталось неизвестным. Трезво рассуждая – нигде не могла и вряд ли ясно представляла, что это такое. Я не спросила: советских детей строго отучали задавать вопросы. Но это отдельная тема, к которой мы еще вернемся. А бабушка, думаю, по опыту знала, что партийное хамство гвоздит хорошее искусство, а плохое насаждает.

Лет в десять я наблюдала во дворе, как две подружки чуть постарше исполняли анекдот по ролям. Мы, зрители, сидели на скамейке. Одна девочка бежала на месте, закрывая ладонями то глаз, то ухо, и вскрикивала: «Ой, где доктор ухо-глаз?». Вторая отвечала: «Такого доктора нету. Есть ухо-горло-нос» – «Ой, мне нужен ухо-глаз! Вижу одно, слышу другое!». Мы всё отлично понимали и хохотали. Агитпроп никогда не осуждал и не запрещал политические анекдоты: люди сами должны были понимать запрет, без напоминаний. И безусловно понимали, о чем свидетельствует поведение и детей и родителей. В официальной публичной сфере ни единого слова о политических анекдотах не говорилось, словно их вовсе не было. «Во времена Хрущева и Брежнева „болтали“ миллионы, но сажали за антисоветскую агитацию и пропаганду десятки, в крайнем случае сотни людей в год. При Брежневе за „болтовню“ уже практически совсем не сажали» (Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953—1982 гг.: Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР, с. 61).

В октябре 1982 года «Комсомольская правда» внезапно нарушила молчаливый договор режима с подданными: статьей «Шепотом из-за угла» агитпроп запретил устную критическую активность в виде анекдотов, баек и «садистских стишков». Особо осуждались анек-

доты о «любимом нами с детства герое» (Комсомольская правда, 15 октября, №237, с. 4). Надо понимать – о Чапаеве.

Почему запрет стал гласным, зачем это было сделано – неизвестно. Политологи Владимир Соловьев и Елена Клепикова в своих догадках заходят далеко: «Статья в „Комсомольской правде“ сочинена в здании на площади Дзержинского – весь вопрос в том, что заботило ее автора: прекращение антисоветских анекдотов либо пополнение с помощью их рассказчиков, а возможно и слушателей, архипелага Гулага, который в сталинские времена снабжал страну бесплатным трудом» (Владимир Соловьев, Елена Клепикова. Юрий Андропов: Тайный ход в Кремль. – СПБ.: б.и., 1995, с. 308).

Где была сочинена статья – неизвестно. Подписана она двумя именами – «В. Неруш, М. Павлов». Авторы проводят фольклористически безграмотную идею, будто анекдоты *состряпаны* в антисоветских центрах на Западе *гнилыми умишками*. Конечно, сразу встает вопрос, почему же *гнилую стряпню* усваивают миллионы советских людей, беззаветно преданных родной партии. Но авторы твердят, что «таких у нас, конечно, единицы, и о них не стоило бы говорить, если бы их циничное зубоскальство не повторялось подчас людьми, претендующими на твердость убеждений» (с. 4). Это обязательная установка всякой директивной статьи: запрещаемый феномен объявляется *единичным*, *отдельным*, но способным *подчас* принести вред, прежде всего неокрепшим душам детей. По уверениям авторов, «наши мальчишки играют в Чапаева и Матросова», а гнилые анекдоты затем и придуманы, чтобы «лишить нашу молодежь ее героических идеалов». Конечно, никто не поверит, будто авторы и впрямь думали, что анекдоты у нас рассказывают и слушают единицы, а мальчишки играют в Чапаева. Статья-окрик была знаком ужесточения режима. Скорее всего, именно тогда отец моего собеседника А. Г. испугался за подростка-сына и резко оборвал его попытку поделиться анекдотом о Петьке и Василь Иваныче. Можно предположить, что «Комсомольская правда» затем и была выбрана для окрика, чтобы испугать и *подтянуть* родителей.

Глава 2. Вершины коммунизма

К победам идет трудовая держава —
Уже коммунизма вершины видны.
Михаил Светлов

Обезьяна, встав на задние лапы, начала свое
триумфальное шествие к коммунизму.
Абрам Терц

Будущее принадлежало партии. Будущее принадлежало государственной идеологии. Будущим был коммунизм. Иного будущего быть не могло.

Опять начнем с повести «Школьный год Марины Петровой»: очень уж текст показательный.

Отпраздновав юбилей любимого вождя, пионеры на зимних каникулах не расстаются, а вместе с вожатой мечтают о коммунизме. Пионерка Галя делится заветным: «А мой папа говорит, что при коммунизме все будут заниматься творчеством!». Пионерка Светлана спрашивает: что при коммунизме будет важней всего – работа, наука или искусство? Героиня Марина говорит, что при коммунизме: люди будут работать умело, с душой. Пионер Лева утверждает, что «у нас в СССР уже сейчас так работают». Вожатая соглашается: «Правильно. В том, как наши люди относятся к труду, уже есть начало коммунизма». Пианист Митя сообщает, что строители сейчас нужнее, чем музыканты, поэтому после седьмого класса он уйдет в строительный техникум. А музыка? – спросила Галя. «Галка, понимаешь, – сказала с волнением Марина. – Митя прав: я тоже хотела бы сама, своими руками строить, а музыка – это потом, когда все построим». Но вожатая Вера объясняет, что музыка тоже нужна сейчас, потому что молодые советские музыканты, побеждая на международных конкурсах, говорят всему миру о том, «как свободно и счастливо живут наши люди, развивая все свои способности». Вожатая добавляет, что *раньше* мало было таких людей, как Александр Бородин, – разом и великий композитор, и великий химик, зато при коммунизме… Дети взволнованны, у всех блестят глаза.

«Вера, как вы думаете, – спросила все время молчаливо слушавшая Тамара, – а мы будем жить при коммунизме?

Но Вера не успела ответить.

– Да ведь у нас уже сейчас начало коммунизма, – сказал Лева.

– А что, при коммунизме театры будут бесплатные? – неожиданно спросила Люся.

Все засмеялись

– И нечего смеяться, – обиженно сказала Люся. – Мне папа рассказывал».

Разговор о коммунизме дословно сохранялся во всех семи изданиях. С исчезновением *вождя* основная *идейная нагрузка* переместилась на коммунизм. Из разговора читатель должен понять многое. Все пионеры страстно, аж глаза горят, интересуются коммунизмом и верят в него. Так же горячо верят в коммунизм их отцы, которые постоянно обсуждают с детьми эту важнейшую тему: «мой папа говорит», «мне папа рассказывал» Ради коммунизма пионеры готовы зарыть свой талант в землю: «а музыка потом, когда все построим». Хотя коммунизм не требует от пионеров такой жертвы, предложить ее – их долг. У нас уже сейчас «начало коммунизма». На сегодняшний взгляд, словосочетание довольно рискованное, потому что приводит на ум «конец коммунизма», но думаю, только на сегодняшний

взгляд. В светлом будущем произойдет перерождение природы человека: при капитализме Бородин был один, а при коммунизме все и каждый – Бородин. Еще и театры бесплатные. Бесплатность – последний пункт, несущественный. Пионеры смеются, о деньгах они не думают. Кстати в повести вообще не упоминаются *деньги, очередь, магазин, керосин, прописка, коммуналка, дожить до зарплаты*… слов таких нет.

В 1952 году, когда появился первый вариант повести, *вождь* вовсе не обещал, что *нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме*. Писательница очень аккуратно справилась с вопросом: вожатая Вера «не успела» ответить, а идейный пионер Лева мигом объяснил, как обстоят дела. Мы не знаем, что сказала бы Вера, а мое экспертное заключение состоит в том, что задавать такой *правильный* вопрос было можно, а внятно отвечать на него – нельзя. Надо было радоваться рытью котлована.

Через десять лет, когда подоспело четвертое издание повести, новый вождь и новая программа партии провозгласили наступление коммунизма при жизни нынешнего поколения. Но фрагмент текста остался прежним – вот что значит удачно вывернуться из затруднения. Теперь можно было думать, что Вера ответила бы «да, конечно, партия обещала!», но идейный Лева все равно прав: у нас «начало коммунизма».

§1. Коммунизм детей и родителей

Коммунизм тоже относился к *сакральной* сфере, но был не настолько опасен и страшен для семьи, как зловещая родня – *«отец» и «дедушка»*. Мечтаний о коммунизме в живом детском общении не было и быть не могло: это зона ритуально-пионерской официальности. Для произнесения сакрального слова требовался специальный хронотоп. Эмден и здесь очень аккуратно вышла из затруднения: пионеры не сами по себе размечтались о коммунизме, а в присутствии вожатой, то есть необходимые условия соблюдены. Повесть свидетельствует и о том, что допустимым хронотопом для упоминания о коммунизме был разговор ребенка с родителями. *Вождей* или действующих *генеральных секретарей* «нормальные» родители не обсуждали с детьми никогда: это была «патологическая», открыто оппозиционная практика. Ленин и партия строжайше подпадали под *избирательный запрет*. А упоминание коммунизма «нормальными» родителями не исключалось, хотя и было редким.

Моя мама, Надежда Васильевна Текучева, рассказала, как экзаменатор задал ей вопрос: будет ли при коммунизме несчастная любовь? Мама ответила: нет! И доказала, успешно соединив обрывки Маркса с обрывками агитпропа. Коммунизм начинает *подлинную историю* человечества, а все прежнее было лишь *предысторией*. При коммунизме у людей будет высшая сознательность, они оставят в предыстории такие *пережитки прошлого*, как несчастная любовь. А пока пережитки остаются, это еще не «полный коммунизм». И экзаменатор вывел в зачетке «отлично».

Совершенно загадочная история. Разумеется, мы с мамой говорили не о коммунизме, а об экзаменах – коммунизм всплыл «к слову». Выслушав, я ни о чем не спросила. Не знаю, правда ли мама так думала (в это невозможно поверить) или она продемонстрировала мне, как надо отвечать на опасные вопросы. Зачем экзаменатор спрашивал о такой глупости, тоже загадка. Дело происходило в мамины университетские годы, в начале пятидесятых. Экзаменатор был стукач? Или набитый дурак? Или он насмехался? Или «заваливал» студентку? Неизвестно.

Коммунизма и в пятидесятые годы было необъятно много, а в шестидесятые начался безбрежный коммунистический потоп.

Профессор Валентин Толстых, «партийный философ» советских лет, в новейшей мемуарной книге настаивает, что люди верили идеологии марксизма-ленинизма и идеалам коммунизма. Даже те, кто пострадал от репрессий. Перо профессора наливается сарказмом: если, мол, и были такие, «кто с детства понял, что марксизм – ложь, коммунизм – утопия, а Ленин и Сталин – изверги», то … «мне они почему-то не встречались» («Мы были. Советский человек как он есть» – М.: Культурная революция, 2008. с. 290—291). Конечно, не встречались. Взрослые люди не стали бы выкладывать крамольные мысли партийному идеологу, а что думали, видели и понимали дети – было и остается тайной за семью печатями.

Идеалы коммунизма всегда были сцеплены с невероятным количеством глупостей. Лично я, еще не зная слова «утопия», думала, что коммунизм – это глупость, о которой глупо говорить. Так и формулировала, еще не зная слова «формулировать», но никому, естественно, не сообщала.

Ни малыши, ни школьники, ни студенты – никто своими настоящими мыслями о коммунизме не обменивался. А если обменивались, в виде редчайшего исключения, то с самыми близкими, проверенными друзьями в полной тайне. Об этом ярко рассказал Владимир Шляпентох в книге «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом» (СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003): «Сейчас трудно понять, как могло родиться в нашем сознании глубокое

презрение ко многим идеям Маркса и Энгельса, как мы могли бросить им вызов. <…> Само собой разумеется, мы считали полной нелепостью тот коммунистический рай, который обещал Маркс, когда выступал не в роли социального аналитика, а как основатель новой религии. <…> Мы чувствовали свое полное интеллектуальное превосходство над бедными основателями научного коммунизма. Это прекрасное самоощущение мы, естественно, скрывали от всех…» (с. 94, 95). Крамольные размышления юных интеллектуалов, студентов Киевского университета, относились к началу пятидесятых годов. Увернуться от коммунизма детям было так же трудно, как увернуться от Ленина. Строчки Михаила Светлова, вынесенные в эпиграф, взяты из книги-календаря на 1949 год. Малыши, не умеющие читать, должны были услышать про вершины коммунизма от мамы, читающей вслух.

Из моих собеседников только А. М. свидетельствует, что «в раннем детстве о коммунизме не задумывался и слова такого, кажется, не слышал» (Интервью 1. Личный архив автора).

А. Б. отмечает, что постоянно видела и слышала лозунги «Вперед к коммунизму», «Слава КПСС»: «Что значат всякие такие, редко произносимые и абстрактные слова, мама должна же была как-то мне объяснить… Но я, честно, не помню как. Кроме того я же смотрела фильмы и в клубе часто проводили всякие праздничные заседания. Так что слова „коммунизм“ и прочие, конечно, звучали. Но для меня они звучали достаточно абстрактно и неинтересно» (Интервью 4. Личный архив автора).

В школе детей обрабатывали коммунизмом неотступно, требуя высказываться. Помню, что весь наш класс писал сочинение о том, как мы будем жить в двадцать первом коммунистическом веке. Нам было лет десять. Писали на отдельных листках, а не в тетрадке для сочинений. Вероятно, школа эти тексты куда-то отсылала. Куда – мне неизвестно. Выяснить это и отыскать сочинения, если они сохранились, было бы интересно и важно. Но такое расследование превышает мои возможности. Должно быть, это делалось к юбилейной дате или очередной годовщине «*октября*». Для выставки, например. А может быть, отсылали совсем в другом направлении, чтобы проверить идейную атмосферу в семьях школьников.

Помню, что никто не захотел поделиться тем, что «насочинял» о коммунистическом двадцать первом веке. Даже с подружкой, с которой сидели за одной парте, мы об этом не говорили. Тогда я была уверена, что все писали примерно с теми же чувствами, что и я сама, и примерно о том же. С какими чувствами и о чем? Пожалуйста, объясняю. «Вы хотите прочесть, что все прекрасно, а будет еще лучше? Получите!».

В двадцать первом веке мы с младшей сестрой будем уже взрослые и ответственные. Мы будем трудиться. Я стану учительницей. А сестра станет врачом. И вот утром по звонку будильника мы просыпаемся в отличном настроении. Мы наливаем в два стакана теплую воду из чайника, бежим в ванную и чистим зубы, весело толкаясь у раковины. Мы одеваемся и дружно завтракаем. Взявшись за руки, летим по лестнице и выбегаем на трамвайную остановку, когда там как раз стоит трамвай. А в трамвае проезд бесплатный. При коммунизме и в трамвае, и в троллейбусе, и в автобусе будет бесплатный проезд. Мы бесплатно проезжаем две остановки. Я поворачиваю направо, в свою школу, где сейчас я ученица, а буду учительница. А сестра поворачивает налево, в городок мединститута, она там работает в больнице. Я захожу в класс, здороваюсь с ребятами. При коммунизме в каждом классе – телевизор! А сестра в больнице здоровается с больными. Там тоже в каждой палате – телевизор! Может быть, тут сочинение и кончилось. Во всяком случае, до этого места помню подробно, а дальше – пустота. Помню именно потому, что остро переживала чувство, которое сейчас назвала бы цинизмом, а тогда – «полным навыворотом» с победительной насмешкой: не поймали! Мысль о том, что меня «ловят», заставляя говорить о коммунизме, у меня, десятилетней, была.

Только сейчас, через пропасть лет, я узнала от моих собеседников, что вера в коммунизм все-таки не исключалась в детской жизни. В одном поразительном случае она была даже идейно-убежденная и высказанная.

«Родители говорили, что с „нашим народом коммунизм не построишь“. Но я им не верил. Я верил Ленину и Карлу Марксу. Примерно до 2—3 курса института. Я был очень идейный мальчик. Я верил в конечное торжество коммунизма и яростно спорил с однокурсниками. Под „коммунизмом“ я понимал то самое, что он и означает: не карикатуру с бесплатной раздачей товаров на складах-магазинах, а общество всеобщего социального равенства, всеобщей солидарности и вырастающего на этой основе разумного ограничения потребностей. Мое представление о том, что такое общество может быть реализовано, и сегодня не кажется мне слишком ошибочным» (М. С. Интервью 9. Личный архив автора).

«О коммунизме я, как и всякий любитель фантастики, думал в детстве очень хорошо. Чего тут спрашивать – и так ясно: светлое будущее, каждому по потребностям, бесплатное мороженое и полеты в космос. Но также было и понимание, что светлое будущее, описанное в романах моих любимых братьев Стругацких, наступит нескоро. А еще меня насторожило упоминание о сталинских лагерях в послесловии Рафаила Нудельмана к „Трудно быть богом“. Как-то это трудно сочеталось – звездолеты и лагеря… Мне было в ту пору лет 12» (Р. А. Интервью 5. Личный архив автора).

«В школе задумывалась. Мысль сводилась к тому, что коммунизм – это очень хорошо. Вопросов не задавала, все было ясно, информации предостаточно, и она была везде одна и та же, вопросов не вызывала» (Л. И. Интервью 7. Личный архив автора).

«В коммунизм верила. Удивляла расплывчатость определений. Не нравилось, когда говорили только о бесплатных товарах. Родители от вопросов уклонялись» (О. К. Интервью 8. Личный архив автора).

Но непонимания, равнодушия и насмешки в отношении к коммунизму у детей тоже хватало.

«По-моему, я задавал вопросы, и мне говорили, что при коммунизме все будут давать просто так, без денег» (А. Г. Интервью 3. Личный архив автора).

«Категорически нет. Я вырос в хорошей, образованной и трудолюбивой семье. У нас ценились труд, знания, умения. Никогда в семье такие темы всерьез не поднимались, тем более что история нашей семьи, как и многих, была совсем непростая. Но и какого-то махрового антикоммунизма не было. Это – не наше дело, недостойно. Главное – заниматься нормальным делом. Все-таки старое воспитание давало себя знать. Всерьез я никогда эту мишуру не воспринимал» (П. Г. Интервью 2. Личный архив автора).

«Что такое коммунизм, я ни в детстве, ни в школе не понимал и вообще не фиксировался на этом.., Мой отец был коммунистом, но об этом я узнал случайно, когда он уже ушел из семьи, его явная аполитичность перешла ко мне по наследству» (А. К. Интервью 6. Личный архив автора).

«О коммунизме были противоречивые впечатления. До его наступления в 1980 году оставались считанные годы и не очень верилось, что деньги отменят и потребности будут удовлетворяться, так как в магазинах ничего не было, и всюду был дефицит. Но учителя в 70-е годы уже о коммунизме говорили мало. Больше о развитом социализме. Домашним вопросы не задавал, понимал, что вызовет только иронию» (Л. С. Интервью 10. Личный архив автора).

«Боюсь, что в мое время строить коммунизм уже никто не собирался. Лозунги про коммунизм при Брежневе уже как-то не муссировались, мы знали, что живем при социализме, а коммунизм – красивая мечта. Для нас он отодвинулся в неопределенное светлое будущее. Поколения, которые его всерьез строили и собирались при нем жить, к этому времени пожухли и притихли» (А. К. Интервью 11. Личный архив автора).

Мой римский корреспондент Gabriele L-M., которому я задала аналогичные вопросы о политических терминах, доктринах и персоналиях, сообщил о гораздо более позднем приобщении к сфере политического, хотя вырос в политизированной семье – его родители состояли в Республиканской партии Италии. В раннем детстве о коммунизме, фашизме, либерализме он не слышал и не знал ничего. Лет в девять начал воспринимать термины, но с идеологиями познакомился не раньше тринадцати. Он хорошо помнит похищение Альдо Моро, о котором с жалостью говорили родственники у телевизора. О Гитлере знал из поверхностных телевизионных передач и военных фильмов. Однажды отец повел сына на выставку военной техники, и у мальчика возникло чувство, что он оказался в Германии. Его мать плохо отзывалась о Муссолини. Только в школе на уроках истории, лет в тринадцать, он услышал о Ленине и Сталине. А что касается Брежнева, то это имя мой корреспондент впервые узнал из моего вопроса.

«Cominciai a comprendere i termini ma solo i termini, credo intorno ai 9 anni, in quell periodo sicuramente gia' li conoscevo ma non conoscevo bene le ideologie, quelle a13 anni. Ero molto piccolo quando venne sequestrato Aldo Moro, ricordo in particular modo un momentonel quale ero a casa di mia nonna e di mia zia, ad Avezzanno. Parliamo ancora delle veccie tv in bianco e nero, per alcuni secondi parlando mostrarono il volto di Moro e mia nonna disse: „eccolo la', poveretto". Hitler a livello televisivo era molto citato ma in modo oltretutto confuso e superficiale. Quando I film inserivano dei tedeschi era per la Guerra, dunque… un giorno con mio padre ed alcuni amici di famiglia andammo in un posto dove si trovavano alcuni carri armati e comunque apparati military, io ero convinto di trovarmi in Germania. Di Mussolini parlava male mia madre in modo generico. Lenin e Stalin credo di averli sentiti nominare molto tardi, forse solo 13 studiando storia con la scuola. Brezhnev me lo citi ora Tu» (Gabriele L-M., электронное письмо от 16.06.2015. Личный архив автора).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.